

Василий Брусянин

# Дом на костях



# Василий Васильевич Брусянин

## Дом на костях

### Серия «Дом на костях»

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=9445241](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9445241)*

#### **Аннотация**

«Так и звали все в городе наше обширное, старинное обиталище „дом на костях“. Страшным казалось это название, угрюмым и пугающим; страшным казался всем и наш дом. Да и мы все, обитатели его, жили в каком-то постоянном страхе перед жизнью, как будто проклятие какое-то висело над всем нашим родом. И дед мой, и бабушка, и отец с матерью, и все дяди и тёти мои, – все мы были несчастны, хотя и богаты... Я говорю – „мы“, потому что и я, один из последних обитателей дома на костях, тоже несчастный, к тому же ещё и бедный, бездомный, бессемейный. Мне уже пятьдесят восемь лет, а я ещё не женат, да и смешно теперь об этом говорить...»

# Содержание

I	4
II	11
III	22
IV	30
V	37
VI	43
VII	50
VIII	60
IX	70
X	77
XI	88
XII	94
XIII	100
XIV	103
XV	110
XVI	113
XVII	120

# Василий Брусянин

## Дом на костях

### *(Семейная хроника середины XIX века)*

## I

Так и звали все в городе наше обширное, старинное обиталище «дом на костях». Страшным казалось это название, угрюмым и пугающим; страшным казался всем и наш дом. Да и мы все, обитатели его, жили в каком-то постоянном страхе перед жизнью, как будто проклятие какое-то висело над всем нашим родом. И дед мой, и бабушка, и отец с матерью, и все дяди и тётки мои, – все мы были несчастны, хотя и богаты... Я говорю – «мы», потому что и я, один из последних обитателей дома на костях, тоже несчастный, к тому же ещё и бедный, бездомный, бессемейный. Мне уже пятьдесят восемь лет, а я ещё не женат, да и смешно теперь об этом говорить...

Служу я писцом в городской управе и вот уже тридцать лет получаю всего лишь тридцать пять рублей в месяц. Когда лет пятнадцать тому назад я возбудил было вопрос о прибав-

ке жалованья, городской голова, купец Ахунин, посмотрел на меня и сказал:

– Для чего вам, Леонид Александрыч, жалованья прибавлять, человек вы одинокий, неужто вам не хватает тридцати пяти?

Врать я не умел с роду и говорю купцу:

– Хватает.

– Ну, так чего же вам!.. А у нас есть служащие семейные, им и прибавляем по мере лет службы.

После этого я уже и не возбуждал вопроса о прибавке жалованья: тридцать пять, так тридцать пять... Бог с вами!.. И только сказал городскому голове:

– Обидно больно, Артамон Игнатьич, другим прибавляете, а я как оглашенный какой...

– Что говорить об обидах!.. Я вон, может, министром бы должен быть по своим понятиям, а вон наши глоты в прошлый год чуть меня и в городские головы не забаллотировали... Вот оно какое дело-то!.. Обижайся, не обижайся, а живи, как Бог приказал...

И вот живу я, как Бог приказал, и мучаюсь всю мою жизнь. А всё оттого, что над родом нашим повисло вековое проклятие. Прогневили Господа наши деды и отцы, а мы отвечаем за них...

Люди распространили о нашем роде страшную легенду, но это всё вздор. Говорят, что все несчастья обрушились на нашу семью только потому, что дом наш построен на че-

ловеческих костях. И, помнится, в детстве я верил в эту страшную легенду, и радости и счастье моего детства отравлялись этой верой в то, чего не было и не могло быть.

Вздорная легенда создавалась благодаря следующим обстоятельствам.

В двадцатых годах прошлого столетия появился в нашем городе купец Влас Артамонович Дулин. Приехал он богачом откуда-то с Урала и привёз с собою дурную молву: о нём говорили, что он разбогател, распространяя фальшивые ассигнации. Приехал к нам в город купец Дулин, купил в пригородной Овражной слободке пустырь и построил химический завод: варил мыло, выгонял из костей клей, обдελывал кожи, занимался и выгонкой скипидара. Дело пошло, и скоро он сделался видным купцом не только в нашем прикамском городе, но и по всей округе и даже на той стороне реки Камы. А лет через пять женился на богатой купеческой дочке и соорудил диковинный для наших мест дом, тот самый проклятый дом на костях, в котором и мне суждено было родиться.

Вначале дом был одноэтажный, с обширным мезонином, с балконами и разными галереями и светёлками. Потом, по мере роста семьи моего прадеда, вокруг дома возникали всё новые и новые пристройки и корпуса. По фасаду улицы он таким и остался, каким его соорудили вначале, а во двор шли всё пристройки, клетушки и галереи и кладовые для склада имущества и товаров. Дом был обнесён высоким дубовым частоколом, и только ворота и калитка со-

единяли обширный прадедушкин двор с улицей и с остальным живым миром. Заводские корпуса помещались в глубине двора, а между ними и домом как предохранение от пожара был выращен тенистый сад.

История постройки дома на костях долго ещё передавалась из уст в уста как летопись начала нашего рода. Рассказывали, например, о том, как с верховьев Камы гнали к усадьбе прадеда громадные «грузовые» плоты из толстых «в обхват» елей и сосен. Брёвна эти десяток лошадей втаскивали в гору от берега, здесь они распиливались, и из толстых брёвен возникали срубы. И для фундамента прадед мой выписал с Урала какой-то особенный белый и крепкий камень, ноздреватый как морская пена, но крепкий камень, так что и железным молотом его не возьмёшь. Рассказывают и о том, как прадед мой извёл прекрасную дубовую рощу, скупивши её за бесценок у какого-то разорившегося помещика. Роща эта была вырублена, а дубовые брёвна в два и три обхвата были пригнаны в усадьбу плотами по той же Каме. Из толстых дубовых досок купец Дулин соорудил в своём доме полы и потолки, косяки дверей и окон. И рамы были сделаны из дуба, и колонны балконов с полами и потолками, и крыльца все и светёлки. Рассказывают, что и кровля дома была покрыта дубом, но потом дуб прадед мой заменил черепицей, а дубовые доски с кровли были проданы каким-то иностранцам за дорогую цену.

И вот прошло теперь уже больше ста лет, а дом этот до сих

пор стоит на берегу Камы, и ничего ему не делается. Перешёл он уже в третьи руки, а всё стоит. Теперь он уже оштукатурен и покрыт железом, и неопытные люди бывший дом наш считают каменным, а на самом деле под белой штукатуркой всё те же еловые и сосновые стены. Те же и полы в доме, и потолки, только уже иначе размалёванные новыми владельцами. И дубовый частокол вокруг двора заменён невысокой каменной оградой, а на том месте, где был когда-то завод прадеда, выстроены теперь каменные конюшни, каретники и амбары.

В настоящее время домом моего прадеда владеет купец Куркин, а купил он его у нашего предводителя дворянства Слуцкого, который покончил жизнь свою самоубийством в одной из светёлок, сооружённых покойным моим прадедом.

На несчастном месте построил мой прадед свой дом. Какие-то, должно быть, грешные люди по реке гнали плоты, сооружали стены и двери, и окна. И до сих пор мне кажется, что легенда о том, что наш дом был выстроен на костях человеческих, сама жизненная правда. Бог мстит нам всем, жившим или живущим в доме, за то, что он построен на костях человеческих.

Помню эпизоды из своего детства. Когда я был гимназистом, на том месте, где когда-то был завод, лежали бугры земли, битого кирпича и камни. А кое-где сохранялся ещё старый фундамент дома, стены подвалов, засорённых обы-



павшейся землёю.

По обширному заводскому пустырю росла крапива, репы, чертополох, белена, лебеда и какая-то особенно красивая зелёно-жёлтая, нежная травка, названия которой я до сих пор не знаю. Но зелёно-жёлтая травка эта была у нас, малышей, в особом почёте.

Конюх, старик Евдоким, вселил в нас особенное представление об этой зелёно-жёлтой травке. Играли мы как-то с братом на пустыре в воров и разбойников (это любимая почему-то была у нас игра), а старик Евдоким собирал на ямах молодую крапиву для щей. Валялись мы на зелёно-жёлтой травке, а он всё смотрел на нас да что-то бурчал себе под нос. А когда мы с братом, поссорившись, начали горстями рвать зелёно-жёлтую травку и пучками её бросаться друг в друга, Евдоким, точно змеёй ужаленный, заорал и подбежал к нам.

– Барчуки, что вы делаете!?. Барчуки!.. Нельзя рвать эту травку!..

– Почему? – заинтересовались мы и забыли о своей ссоре и драке.

– Да как же можно рвать эту травку: святая она!.. Кровь это человечья...

Мы оба с братом расхохотались над непросвещённым стариком, а брат мой даже и такую штуку отмочил:

– Евдоким, – говорит, – трава эта по-латыни называется «Duramentum», что значит по-русски прочная...

Я расхохотался над шуткой брата, а он продолжал уве-

рять старика, что трава эта действительно называется прочной травой, и говорил:

– Ты пощупай, какая она мягкая, а твёрдая... Посмотри!..

И брат сорвал новую горсть травы, которая действительно была хотя и нежная на ощупь, но страшно твёрдая, и оторвать её от земли нелегко было.

Кинул горсть травы брат в лицо Евдокима, а он даже отшатнулся и лицо прикрыл руками и застонал. А потом поднял лицо, осмотрел белые облака, бежавшие по вешнему небу, и сказал:

– Потому она, барчуки, твёрдая, что Господь Бог не приказал её рвать и мять... Послушайте-ка вы меня, нехристи... Бога-то не боитесь...

Присел на обрубок гнилого дерева Евдоким, и мы уселись с ним рядом на тот же обрубок.

И сказал Евдоким с тоской в голосе:

– Из человеческой крови выросла эта трава... из человеческой...

## II

Что-то таинственное и интригующее нас с братом послышалось в особенном голосе Евдокима, и мы оба обратились в закаменевшее внимание.

А Евдоким продолжал свой рассказ:

– Было это давно... Пожалуй, и никто не скажет, когда это было... А только ходили по Волге и по нашей матушке-Каме разбойничьи шайки, грабили и убивали людей по дорогам и на реке шкодили: то барку изловят с товарами да ограбят, а людей-то всех либо на виселицу, либо нож в горло да и в реку... И вот были в те времена на горе нашей, где вот город-то наш построен, леса дремучие-предремучие. А в тех лесах вырыты были пещеры да ямы, в которых и укрывались разбойники от войск царских. А людей, что побогаче да познатней, люди те разбойные не убивали, а в свои пещеры затаскивали да и держали до той поры, пока сродственники их не выкупали их у разбойников. А выкуп разбойники назначали большущий, у кого и денег-то таких не найдётся... И вот выходило так, что кого сродственники не выкупят, разбойники с таким горемычным человеком, не говоря ни слова, по-свойски приканчивали – душили али вешали, а чтобы не быть в ответе, тут же в лесу около своего проклятого логова и в землю закапывали... Мотри-ка, весь-то наш город, а не то что только это место, и весь город на человеческих

костях построен...

– Ну, уж это ты вздор мелешь, – возразил брат, но, как мне показалось, и возразил-то он только для того, чтобы ещё сильнее раззадорить рассказчика и заставить его говорить и говорить о старых временах наших прикамских лесов...

– А ты постой, барчук, помолчи!.. Люди старые, брат, не ввали, не то, что нынешние... А старые люди эти всё доподлинно знали и всё рассказывали... Я тоже вон помню своего прадеда, а он говорил, что на месте города-то нашего, когда он мальчонкой был, всего и была махонькая деревушка на этом месте, а где дом-то ваш, тут ещё лес рос. И ваш-то старый родитель, купец Влас Артамоныч, когда дом-то тут строил, по два обхвата сосны валил... Посмотри-ка стены-то какие у вашего дома...

– Ты, брат, врёшь, Евдоким! – снова возразил брат мой Женя. – Брёвна на дом с верховьев Камы пригонялись, папа говорил...

– А ты, барчук, погоди, погоди, не сучи языком-то!.. Отец-то твой годков на тридцать помоложе меня будет, и ничего он не знает, а у меня отец и дом-то ваш строил, наблюдателем, значит, был и за порядками наблюдал.

Мы немного сбили наладившийся рассказ Евдокима, уличив рассказчика в том, что по расчёту лет никак не выйдет, чтобы отец Евдокима мог быть наблюдателем при постройке дома прадеда.

– А разве я сказал, что отец? – переспросил Евдоким,

немного смущённый.

– Ну, конечно, сказал, что отец твой был наблюдателем...

– Ах ты, Господи! – немного повеселевшим тоном продолжал Евдоким. – Не отец, а само-настоящий доподлинный дед мой Василий Петров... Ну, так вот... Когда дед-то мой мальчонком был, на этом месте, где город теперь, была простая деревушка... Почнут мужики колодец рыть или столб какой врывать, а тут тебе в земле-то всё косточки и косточки, да не какие-нибудь косточки, а всё человечьи... Прошлый год вон... а, может, два года назад... батюшка-то наш соборный дом новый клал из кирпича, и тоже, как почали канаву для фундамента рыть, то и вырыли целых пять лукошек человеческих костей... Ты тоже скажешь – не человечьи это кости, а батюшка-то знает: кости вырыли и на кладбище снесли, и в землю их зарыли, и панихиду над ними батюшка пропел... Стал бы он панихиду петь, коли это были бы не человечьи кости... Тоже, сказал!.. А я те вот что скажу, барчук мой милый, дом-то ваш на самых главных костях и построен... Порой-ка-сь где, тут вот хошь, и непременно ты человечьи кости найдёшь...

– И это всё вздор! – снова не утерпел и возразил брат. – На этом месте у нашего прадеда был завод клеевой, а клей из кости гонится... Вот тебе и кости!.. Волосьи, коровьи, лошадиные, может, собачьи и кошачьи кости в земле, а ты своё мелешь – человечьи!.. Папа лучше тебя знает...

– А ты постой... посто-о-ой, барчук... не сучи язы-

ком-то!.. Батюшка не стал бы над собачьими костями панихиду петь.

– Да, ведь, он над теми костями пел, что нашли у него в усадьбе. А у нас здесь никакой панихиды попы не пели...

– Вот то-то и плохо, что никогда тут никакой панихидки не пели, оно и выходит – место страшное, потому кости человечьи вопиют... вопиют они... Сколько тут на этом месте крови пролито, может, ручьи лились, а опять кости... Вон они наружи лежат... Вон!.. Вон!..

Евдоким поводил по сторонам своим толстым заскорузлым пальцем и показывал нам на кости, которые мы давно уже видели и на ямах, и в саду, когда чуть копнёшь землю вершка на два, и во дворе.

Нельзя было отрицать, что старый дом наш был построен на костях, но мы все, семейные, так легко объясняли это, памятуя, что у нашего деда был клеевой завод. Но устами Евдокима говорила сама народная молва. Из далёких времён, когда на Волге и Каме водились разбойники, пришла эта молва к нам и до нас, правнуков, докатилась.

– Почему же ты не соберёшь эти косточки да не позовёшь отца Игнатия, чтобы он в могилку их закопал и панихиду отслужил? – не унимался брат и оспаривал рассказ Евдокима.

– Побольше меня люди есть... Им бы это и сделать, папа вон ваш, мама, дедушка, бабушка... – немного смущённый, говорил Евдоким. – А я вам говорю, что другие говорят... Да!.. А отчего все несчастья на роду вашем?.. Отчего?.. Жи-

вёте богато, а счастья нет: смута одна в семье, болезни да смерти... Вон прадедушка-то ваш... Вон могилка-то... Вон часовенка-то стоит... На том самом месте и поставлена, где его громом-молнией убило...

Мы с братом посмотрели через забор на высокий холм за садом. На этом холме, где и теперь проходит гладко наезженная дорога, стоит старинная кирпичная часовенка, поставленная на том самом месте, где дед мой был убит громом.

А Евдоким продолжал свой рассказ:

– Вот с него все несчастья и начались... А какой он, царство ему небесное, был, – Евдоким три раза перекрестился. – И папаша-то ваш, небось, знает, какой крутой старик был: сколько людей намучил... А ещё и вон что говорят, будто прадед-то ваш из человеческих костей клей-то гнал... тот клей, что получше сортом...

– Фу! Какой ты вздор говоришь! – воскликнул брат.

– Может, и вздор, а, может, и вправду это было... Лес тут в те поры был, а начальства никакого, что хошь, то и делай...

– Да вздор ты говоришь! – воскликнули уже мы с братом вместе.

И было страшно как-то заступаться за нашего прадеда и было ещё страшнее слушать вздорный рассказ Евдокима и не опровергать его.

Рассказы о том, будто прадед наш, действительно, выгонял клей из костей человеческих, смущали и деда моего, как он

рассказывал, и отца. Да и бабушка не раз бранила «непутёвых» рассказчиков, но что же мы все могли сделать в оправдание прадеда нашего? Что дом наш построен на костях – это факт. А на чьих костях?.. Может быть, и вправду нужно было бы исследовать все эти кости и или опровергнуть страшную легенду, или молча признать истину и отслужить панихиду на ямах, оставшихся от разрушенного завода прадеда.

А Евдоким, подогретый нашим вниманием и тем, что мы не на шутку огорчены его рассказом, продолжал своё страшное повествование:

– А разве не правда, что прадед ваш имел до десятка жён?.. А?.. А деревенских мужиков, парней молодых, кто на хутора на Урал отправлял да там их как каторжников держал?.. А?.. Не прадед ваш? Парней на хутора отправит, а сам с их жёнами бесчинствует да мучает ту, которая не захочет быть его полюбовницей... А?.. Скажете, и это всё неправда?.. А кто над рабочими своими измывался да работать заставлял их целыми сутками, а кто ослабнет – в Каму тащили да там в воде над ним надругивались... А кормили как! Чем кормили?.. А как прадед ваш как всамделишный барин людей на собак менял, а собак – на людей?.. А?.. Тоже скажете – неправда... Нет, всё это правда... Правда истинная!.. Как перед Богом говорю вам, барчуки... Прадед-то ваш, хоть и не из господ был, а у него на заводе да и так-то на усадьбе людям жилось хуже, чем на барском дворе где-нибудь... Уж на что были злы помещики Скавронские, а у них того звер-



ства не было, что у вас вот тут, на этом проклятом месте.

Евдоким смолк, и мы с братом молчали. Голос его как голос с неба был такой властный, гремучий, что казалось, что голосом этим заговорили все те люди, которых, действительно, замучил наш прадед. И сидели мы, подавленные рассказом Евдокима, хотя этот рассказ и не был для нас новостью. Мы давно уже и от деда, и от отца слышали рассказы о жестокостях нашего прадеда. И он вставал в этих рассказах какой-то легендарной, таинственной личностью, пугающей своими жестокостями, и вместе с тем мне всегда представлялось, что человек этот был человеком большой кипучей энергии, смелых замыслов и не менее смелых их выполнений. На Каме есть перекат, и он до сих пор называется именем моего прадеда. Когда-то на собственные средства он расчистил русло, и немало людей перетонуло на этой работе, и немало людей умерло от холода и морозов. Для своих торговых целей расчищал старик Каму, но и до сих пор в этом месте суда проходят беспрепятственно даже в самое сухое лето. А в городе имеются богадельня и школа имени моего прадеда. Можно бы было назвать и церковь Покрова его именем, потому что и эта церковь целиком воздвигнута на средства моего прадеда, страшного белого старика, как его когда-то звали все, кому приходилось встречаться с ним на пути жизни.

В те времена, когда был жив мой прадед, всё чиновничество поголовно брало взятки. Кажется, ни одного дела не сде-

лаешь без того, чтобы не отблагодарить и маленьких чиновников, и покрупнее.

Помимо того, чиновники чванились и других людей, а особенно людей податного сословия, и купцов даже и за людей-то не считали. И случилось так, что в наш город по каким-то делам приехал один **набольший** чиновник, как говорили в то время. Приехал чиновник в наш город, разнёс за непорядки всех своих подчинённых, да и другим людям – купцам, попам, мещанам – досталось от него. А недоволен был **набольший** чиновник горожанами только потому, что плохо его встретили, несладко угощали, а главное потому, что мало выказали пред ним раболепства и повинения.

И вот как-то к вечеру прискакал в усадьбу купца Дулина гонец от **набольшего** чиновника с криками и бранью. Как оказалось, мой прадед только один из всех купцов не подчинился приказанию чиновника и не приехал к нему с поклоном и подарком. Подарок-то купец Дулин послал чиновнику, и подарок этот был всех ценнее, но сам-то он не пожелал приехать к чиновнику. Возмутился чиновник и послал гонца с приказом живым или мёртвым, но доставить купца Дулина пред светлые очи начальника. Как в сказке хотели сделать, а вышло по иному, как в жизни, особенно, если дело касалось такого упрямого и честолюбивого человека, каким был мой прадед.

– Скажи ты своему начальнику, – сказал купец Дулин гон-

цу, – что подарок я ему послал, а сам я – подарок не по зубам ему... Пшёл сейчас же от ворот моих!.. Да так и скажи, мол, тяжёл подарок Влас Артамоныч Дулин, и никак он себя не может доставить господину начальнику на поклон.

Вернулся гонец к начальнику и рассказал, как было. А начальник в гнев вошёл, послал десять своих гонцов и приказал им насильно притащить к себе купца Дулина. И на этот раз послушался купец Дулин и ещё больше рассердил начальника. Тогда начальник послал в усадьбу прадеда моего два взвода солдат, а наступила уже ночь, и все огни в усадьбе прадеда моего были потушены. Как в неприятельскую крепость ворвались солдаты к купцу Дулину, связали его и в таком виде доставили к начальнику. Прикинулся тут прадед мой покорённым и говорит начальнику:

– Твоё взяло, ваше превосходительство... Я думал, что сильнее всех на свете, ан выходит и посильнее меня есть люди...

Понравилось ли это признание его превосходительству, или же понравился сам старик ему, – а прадед мой даже своим внешним видом мог обворожить кого угодно, – но только видят все чиновники, что между начальником и купцом пленным завязалась самая близкая дружба. Привели к чиновнику купца связанным, а он уж против него сидит в кресле как равный с равным и пьёт с генералом чай с дорогим заморским вином.

Подивились люди странному событию и никак не могли

его объяснить, да никто и не узнал, как же это так вышло, что ослушник купец вдруг стал приятелем грозного начальства. А к половине ночи из усадьбы купца Дулина приказали тройки вороных, сивых и серых лошадей, впряжённых в красивые тарантасы. И покатали охмелевшие начальники во главе с купцом Дулиным в лес на гулянку, а в лесу уже и костры горят, и послушные слову купца Дулина слуги его вина разные да закуски на коврах расставляют, а в лесочке уже и хор певцов приготовился, и музыканты ждут приезда дорогих гостей в заповедную дубовую рощу купца Дулина. Показались на дороге быстро несущиеся в темноте тройки, вынеслись на полянку, озарённую пламенем костров, и запели тут люди в прославление **набольшего** начальника, а музыканты заиграли что-то весёлое и хвалебное.

Тут и начался лесной пир до утра. Верные холопы купца Дулина срубали в лесу деревья, разжигали костры, а чиновники с купцом пировали: пили да ели, кто чего хочет, и кто сколько хочет. А к утру и вышла такая оказия, что все гости купца Дулина оказались пьяными настолько, что как сидели на коврах, так и повалились, и самый главный начальник ослабел и тоже свалился у костра на ковёр.

Тут купец Дулин и начал настоящую свою забаву. Приказал холопам своим раздеть догола всех своих охмелевших гостей, как говорили, одурманенных каким-то дурманом вместо вина. Раздел купец Дулин своих гостей догола, приказал потушить костры, забрал всю чиновничью одежду, сел

на тройку и холопам своим приказал наложить в экипажи остатки закусок да и самим сесть, да так под общий хохот все и выехали из леса. К утру костры окончательно потухли, и напали на голых спящих чиновников комары да мошка разная, а тут и солнце встало из-за лесов, и как проснулись гости купца голые, так и обмерли и не знали, что же делать. Идти в город в голом виде очень уж зазорно было, а послать за одеждой некого – все как Адамы какие-нибудь, да и холод утренний пробирал, а на траву выпала роса, и туманы ещё бродили у подножия вековых дубов.

Как пробрались в город одурманенные и одураченные чиновники, никто не знает, и так эта история и заглохла. Говорят, что **набольший-то** чиновник вместо того, чтобы жаловаться на купца-озорника, приказал своим подчинённым молчать, да и в городе-то долго ещё преследовали тех, кто проговорится и расскажет о том, как купец Дулин угощал в своей заповедной роще чиновников.

### III

Кончил жизнь свою купец Дулин в летнюю пору, когда особенно много было у него разных дел. Случилась на Каме буря и просвирепствовала дня два. Много плотов разметало той бурей, много судов сорвало с цепей и якорей. Не пощадила буря и барок прадеда моего. А в какой-то барке были разные дорогие товары, накупленные купцом Дулиным для своего пользования. Были тут и материи разные, и вина, и вещи разные, и закуски, и одежда дорогая для всех домоладцев богатого купца. И вот выгнал купец Дулин всех своих слуг на берег, чтобы спасти товар, а буря отнесла барку на середину реки, пробила у барки борт, и барка накренилась на правую сторону. Погнал купец лодки с людьми к тонувшей барке, а волны реки своё дело делали: качали на седых гребнях утлые судёнышки, заливали их водой да захлёстывали. А вот одну лодку и опрокинуло, и выпали люди за борт и начали тонуть. Выбрался ли кто из воды, нет ли – никто не знает, а только и остальные люди трусили да в лодках своих к берегу поплыли. Рассердился купец Дулин, приказывает людям садиться в лодки, а те, как ни покорны были, не решались губить своей жизни. Купец Дулин из себя выходит, кулаками людей бьёт и приказывает в лодки садиться, а те как вкопанные в землю ни с места. Пригрозил купец Дулин людям своим перестрелять всех и как паренёк моло-

дой побежал в гору, чтобы ружьё и пули принести из дому. И до дому добежал, и ружьё с пулями схватил из спальни своей, а как выбежал вновь из усадьбы, новая страшная туча надвинулась на Каму, над усадьбой старика тёмное крыло тучи простёрлось. А гром несмолкаемо гудит и обрушивается на землю гулкими раскатами, и молнии слепят глаза.

Выбежал купец Дулин на пригорок, что на самом берегу реки, тут его и ударило в голову стрелой небесной, молнией слепящей, и упал он мёртвым, а около него ружьё лежит, то самое ружьё, из которого он хотел перестрелять других людей.

Так и закончилась эта бурная жизнь человека, который всю свою жизнь хотел только повелевать. О последних годах жизни прадеда моего рассказывала мне моя бабушка. Как ни любила она отца, а всё же и по её рассказам выходило так, что страшнее этого человека во всём округе не водилось. Бабушка так именно и сказала: «Не водилось», как будто речь шла о каком-то лесном звере.

За год до смерти над домом прадеда моего стряслась другая беда. Ещё задолго перед тем, как только разбогател он, то и выписал с Урала двух братьев своих – Митрофана и Луку – и поручил им следить за хозяйством да наблюдать за рабочими завода. Оба брата как и сам купец Дулин были такие же как и он, энергичные, смышлёные да отважные. Дела брата они развернули на всю губернию, и стал купец Дулин доверять им и деньги большие, и дела важные. А тут вышло

так, что вместо самого Дулина на ярмарки стал ездить Лука, да и брат Митрофан помогал ему в делах продажи. И вот, когда двум братьям попало в руки несколько десятков тысяч рублей, тут они и изменили своему доверителю. Забрали деньги да и уехали куда-то по Каме, а потом и вниз по Волге да до самого Каспийского моря. А в добавление к этому брат Лука увёз у купца Дулина самую красивую и самую любимую его Наденьку-монашку, как звали одну девицу из духовных, которая жила в городе, отбившись от семьи кладбищенского батюшки.

Чуть отходили купца Дулина от удара, когда он прочёл смешливое письмо брата Луки, а Лука писал, что, мол, вот что, братец, «служили мы тебе хорошо и денег нажили немало, а жалованье ты нам платил плохое да и так-то держал нас как слуг своих. Теперь мы и сами себе торговлю откроем и будем всегда тебе благодарны. А что касается Наденьки, которую вы прозвали в насмешку монашкой, так мы с Наденькой давно друг друга любим и как приедем в такое место, где вам, братец родной, нас не достать, тут мы и обвенчаемся».

Что потом стало с двумя братьями Дулиными, бежавшими от родного брата, никто не знал. Говорили люди, что оба они разжились где-то на рыбных промыслах на море, а другие говорили, будто они погибли в водах морских вместе с Наденькой-монашкой.

И погоню устраивал купец Дулин за братьями, и разных



людей нанимал и посылал их на розыски, но так из этого ничего и не вышло: как в воду канули и Лука, и Митрофан. А потом люди верные говорили, что оба они живы и богато живут, а насчёт гибели в волнах моря сами слухи эти распустили, чтобы брат не искал их.

А о себе бабушка моя говорила:

– А я была любимой дочкой отца покойного. Было нас, ребят, пятеро – три брата да две сестры. Сестра моя, Дашенька, умерла в детских годах. Обварили её из самовара кипятком, помаялась и умерла, а через год брат Саша умер. Пошёл рыбу ловить, кувыркнулся с берега и утонул... Тут и с матерью моей случилась беда, стала она винцо попивать, чтобы горе своё от потери сына и дочери размыкать. Сначала тайно у себя в горенке попивала, а как отец прознал да избил её за это баловство, тут она уж в открытую пошла и пила и день, и ночь... Сколько отец ни бил её, ни сажал в тёмный чулан, ничего не добился... Выйдет из чулана и ну опять пить... Так вот и жили мы, а отец с каждым годом становился лютым... Два брата мои, Гриша и Федя, боялись его как огня. Из послушания не выходили, а тоже, гляючи на мать, стали винцо попивать да баловаться табачком. Узнал и про это отец и тоже бил их и в тёмный чулан сажал... Бывало, маму мою и Гришу с Федей поколотит и в тёмный чулан посадит. Так, бывало, мать с сыновьями и сидят в чулане. Сперва плачут-плачут, а потом начнут стихиры духовные петь, а то перейдут на песни, хохочут!.. И вышло тут так, что горничная

одна подкуплена была матерью и носила им в чулан водочку с закуской да вино разное. А то и так делала: запрячет раньше времени где-нибудь бутылочку, а то и две, а как придут узники в тюрьму, то тут им и выпивка изготовлена. До-знался и об этом отец и сослал ту горничную Палашу в самый дальний хутор на Урал. А когда летом поехал на хутор, то и отдал её насильно замуж за курносого и плюгавого сторожа, из башкир крещёного. А сторожа уволил, и поселилась Палаша в башкирской деревне, где наполовину магометане жили, а наполовину – крещёные... Да какие, прости Бог, эти самые крещёные христиане! В церковь не ходят да и молиться-то не умеют... И случилось тут так, что муж Палаша умер, и осталась она в деревне с башкирами, а тут и сама в магометанство перешла и за башкирца замуж вышла. Тут и осудили Палашу и сослали в Сибирь... Что случилось с нею, не знаю... А братья мои по-прежнему куролесили. Совсем отбились от рук. Парни были большие, одного уж и рекрутской квитанцией от солдатчины откупили, а другому было лет двадцать пять. И вышло так, что отец и Гришу с Федей в тот же дальний хутор сослал за ослушание, а маму мою приковал на цепь в своей спальней... И жила я одна в доме с отцом-извергом, и ничего не могла сделать... Бывало, маме моей облегчение какое хочу сделать, а отец грозит, что и меня в дальний хутор сошлёт на поселение. А вышло так в скорости, что на этом самом хуторе оба брата мои в одночасье умерли... Затопили печь на ночь и спать легли, а по-

утру обоих их нашли мёртвыми – угорели. Узнала об этом мама и тоже вскоре умерла, руки на себя наложила и удавилась... Так на цепи прикованной и умерла. Рука была к кольцу в стене прикована, а голову просунула в петлю, а верёвку-то к раме дубовой привязала, да так и заглохла, родная моя... Все эти смерти вырезвили отца, и стал он кротче, молился по ночам, а потом и церковь Покрова Пресвятыя Богородицы на городской площади выстроил на свои деньги и всё в эту свою церковь молиться ходил...

Страшным, загадочным призраком вставала предо мною фигура моего прадеда, и я часто боялся думать о том, что живу в доме, свидетеле таких страшных подробностей жизни моих предков. И молва горожан по-своему отмечала эту страшную жизнь. С каким-то злорадством мещане, мелкие купцы и вечно нуждающиеся чиновники говорили о страданиях нашего рода, как будто эти страдания доставляли им всем какую-то радость. Да как и не радоваться! Стоит в пригороде особняком роскошный и богатый дом, где в довольстве живут люди. Всё как-то по особенному, всё не похоже на остальную жизнь в этом доме, и вдруг в этот же заколдованный и сказочный замок роскоши и довольства смело входят те же самые муки и страдания, которые так повседневно, так непрестанно живут среди бедного и обиженного жизнью люда.

– После смерти отца, – говорила бабушка, – осталась я одна в этом страшном доме на костях. Всё хозяйство взвали-

лось на меня, все хлопоты заставили меня проснуться к жизни. Что же я делала при жизни отца: пила, ела, красиво наряжалась, играла на клавикордах. Были у меня и подруги из купеческих и дворянских семей, но между ними и мною всегда жила зависть самая чёрная. С виду хорошо относились мои подруги ко мне, а в душе это были змеи подколотные. И вот, замкнулась я от всех и начала свою жизнь по дому. Торговля и завод замерли, оставила я это дело и думала о том, как бы выйти замуж да и сдать все дела мужу. А свататься за меня боялись, потому считали, что кто поселится в нашем доме, всё равно счастлив не будет. Так и намекали мне женихи: «мол, – распродай ты всё это чудовище, а тогда можно и свадьбу сыграть», а я думаю: «Берите, какая есть, а с труссами мне и жить не захочется». И вот случилось так, приехал к нам в город учёный человек Александр Иванович Дроздовский, дедушка ваш. Где-то в Москве он жил и был профессором, а вот приехал к нам в город и заинтересовался моим стоящим без дела заводом. Много расхваливали наш завод люди, вот и он заинтересовался. Пришёл, «Покажите, – говорит, – мне ваше заведение». Повела его я по заводу, а он красивый такой, вежливый да обходительный, каких мужчин у нас в городе отродясь и не бывало. Ну, раз пришёл, другой раз пришёл, а тут уж, прямо скажу, и ухаживать за мной стал, да и мне он нравился. А когда дело дошло до настоящего объяснения, и говорю я ему: «Как же, – говорю, – Александр Иваныч, вы войдёте в наш дом, если его все боятся?» По-

смотрел на меня Александр Иванович, улыбнулся и говорит: «Я без предрассудков и смерти не боюсь, потому знаю, что такое смерть, и рано или поздно она придёт». И вышла я замуж за моего героя. Сейчас же муж открыл завод, нанял рабочих и повёл дело по-своему. А только вижу я, что не с того конца начал дело, потому всё в теории разные отвлекался, химию он изучал и сам химик был. Теория его – одно, а жизнь – другое. И дело-то, вижу, не по настоящему стал вести: с рабочими как равный, а какое же равенство между теми, кто на тебя работает. Бывало, захотят рабочие отдохнуть – отдыхай. Захотят рабочие прибавки за работу, он и прибавку делает. Глядела, глядела я на его порядки и говорю: «Саша, да тебе бы у покойного моего отца поучиться, как надо дела торговые и промышленные вести». А он мне в ответ: «Веду дела по совести». И только. А порядки на заводе старые. А люди рабочие увидели, что за птица у них новый хозяин, и пошли ему на шею садиться. И вышло так, что как-то раз приходит ко мне в комнату муженёк мой и говорит: «Ну, – говорит, – завод надо закрывать, потому не могу я делами заниматься. Если делать так, как я делаю, то от нашего имущества в пять лет ничего не останется, а вести дело так, как вёл отец твой, я не могу, это не в моих принципах»... Так он со своими принципами и порешил стать, а завод свой мы со всеми машинами и стенами продали купцу Вашину, тот его и увёз к себе в усадьбу. С тех пор вот этот пустырь-то во дворе и стоит.

## IV

Я помню время, когда покойный брат мой называл деда Александра Ивановича святым человеком. Конечно, он преувеличивал, называя его так, но, несомненно, дед мой – человек незаурядный. Через всю свою жизнь он, не погрешая пред совестью, пронёс что-то своё. Жизнь заставляла его делать так, как она хочет, а он делал так, как подсказывала ему совесть. Потому он и пострадал, побеждённый. Я называл его Дон Кихотом, и мне казалось, что моё определение вернее определения брата. Да и брат соглашался с этим...

Милый брат мой Женя! И он умер Дон Кихотом. В бурю тонули на Каме люди, а он в крошечной лодочке бросился спасать их и утонул... Я должен рассказать об этом эпизоде в нашей общей с ним жизни. Он умер Дон Кихотом, а я остался жить себялюбивым эгоистом.

В тот роковой вечер мы вместе с ним были на берегу реки. Вышли из усадьбы посмотреть, что делается на Каме в бурю. Любили мы оба грозы и бури и, как только поднимался сильный ветер, тепло одевались и шли на берег. Так случилось и в этот вечер. Стояли на берегу и любовались бурей. А ветер вздымал волны, и белые гребни их насквали на помост пристани и заливали мокрые доски. А посмотришь вдаль, и всюду, пока видели глаза, неслись по реке страшные волны и гудели и бросали в нас брызги. У бере-

га поскрипывали на якорях барки, а дальше к стержню реки колыхались громадные плоты, и волны расшатывали крепы, а кое-где от плотов уже отделялись оторванные брёвна и неслись по воде вниз по течению.

И вот, слышим мы, донёсся с реки вопль о помощи. Насторожились мы, заволновались, а брат уже бежит к лодке. А с реки ещё отчаяннее доносятся вопли: увидели погибающие людей на берегу и в отчаянии и с надеждой на спасение ещё громче взмолились о помощи. А на чёрных волнах с белыми гребнями темнеют чья-то лодка и трое людей в ней. И вот вижу я, сбрасывает с себя брат тёплую куртку и остаётся в одной гимназической коломянковой блузе.

– Скорее!.. Скорее! – кричал он мне, развязав причалы и двигая к воде нашу маленькую лодку, на борту которой было выведено краской имя «Отважный». – Скорее, Лёня! Садись на руль, а я на распашных.

Я бросился к лодке и стал около неё как вкопанный.

– Мы утонем!.. Куда мы поплывём!?! – вдруг неожиданно для себя воскликнул я.

– Садись, садись скорее! – кричал брат, а я стоял у лодки с веслом и колебался.

– Скорее!.. Что ты за мямля!..

И брат выругался, как ругаются работники и кучера.

– Если не хочешь... я один!.. – крикнул он и начал грести к середине реки.

– Женя, вернись!.. Ты утонешь!.. – кричал я брату, а он

уже далеко отплыл от берега.

Чёрные волны качали его лодку на белых гребнях, и то вправо, то влево повёртывался нос лодки, но сильные руки брата слились воедино с вёслами, окрашенными в белую краску, и лодка держалась намеченного пути.

И было мгновение, когда я разом и во всю ясность сознания, по настоящему оценил мерзостность своего поведения. Мне было и больно, и стыдно, и хотелось мне броситься в реку и догнать брата и вместе с ним пуститься на отважный поступок помощи погибающим.

Но было уже поздно. Лодка брата чуть заменой точкой темнела на фоне волн. Я искал на волнах лодку тех, кто погибал, и не видел этой лодки. Спустился с неба мелкий и частый дождь и сплошной мглой застлал и воду, и противоположные берега, и лодку с погибающими, и лодку моего брата.

Обе лодки погибли в этот страшный час дня, погибли и те, кто жаждал спасения, погиб и тот, кто хотел спасти погибающих.

Брата своего я увидел только мёртвым дня через три. Его выбросила река верстах в пяти от усадьбы и прибила к прибрежным кустам лозняка.

Помню и этот печальный вечер. Река по-прежнему волновалась, спускалась с неба тонкая и нежная пелена мелкого дождя. Рыдала над трупом мать моя, а отец стоял спокойный и тихий в своём странном размышлении о жизни и смерти. Я не сомневался, что он об этом думал, потому что он ска-



зал, ни к кому не обращаясь:

– Вот жив был Женя, и в день смерти мы с ним поспори-  
ли... и нет Жени...

Мне показалось, что он заплакал, потому что отвернул ли-  
цо, отошёл к обрыву берега и долго смотрел в красную глину.

Когда труп брата, завёрнутый в простыни, был уложен  
на телегу, и сивая лошадка вывозила громоздкий и тяжёлый  
экипаж в гору, мы с отцом помогали лошади и упирались  
руками в задок телеги.

Он шёл со мной рядом, тяжело дышал и говорил:

– Вот ты благоразумнее Жени... Как же можно спасти  
людей на нашей душегубке?.. Вот и он сгубил свою душу...

Поздно ночью, когда труп брата, обмытый и обряженный  
в гимназический мундирчик, лежал в зале на столе, я вышел  
на террасу.

Там в темноте сидел мой дед, слепой старик, и крас-  
но-оранжевой точкой светился в его руке кончик раскурен-  
ной папиросы.

– Это ты, Лёня? – окрикнул он меня.

Слепой дед до изумления угадывал по шагам, кто вошёл  
в комнату.

– Да... я... – ответил я.

– Расскажи мне, как всё это несчастье случилось?

И я рассказал деду всё, что видел. И он долго молчал,  
попыхивая папиросой, и мучительным показалось мне это  
молчание. Потом дед обернул ко мне своё «невишное» лицо

и негромко сказал:

– Какой же ты, брат, пакостник!.. А?.. За шкуру свою испугался!.. А?.. Женя как герой бросился спасать и не рассуждал и забыл о своём существовании... А ты... ты за себя испугался!.. Ведь, если бы вы вместе поплыли, быть может, и Женя остался бы жив... Вы вместе вдвоём побороли бы волны и спасли бы и тех, и сами уцелели... А теперь что же?.. За что погибла эта хорошая молодая жизнь?.. А?.. Эх, ты – трус!.. Уйди отсюда!.. Уйди!..

Я не двинулся, и мне хотелось подбежать к деду, броситься к его ногам и выплакать у него прощение за попранную мною справедливость...

– Уйди же от меня, я говорю тебе! – резко выкрикнул дед и палкой ударил в пол. – Уйди от меня, трус несчастный!.. Уйди!..

Я уходил с террасы и слышал слова деда:

– Трус!.. Пакостник!.. Пакостник!..

И с этого мгновения, я знаю это, я стал для всей своей жизни трусом и пакостником... Роковую печать наложил на себя сам и вот живу с этой печатью до сегодня...

В тоске и одиночестве всю ночь я пробродил по берегу, и мне хотелось умереть. Мне хотелось броситься в волны Камы, чтобы не чувствовать стыда и своего позора...

Но я не умер, не покончил самоубийством... Разве способны на это пакостники жизни!?

Когда я вспоминаю теперь жизнь моих близких, прежде-

временно умерших, я прихожу к выводу, что все те из них, которые были хорошими, нужными жизни, те умерли, а мы, не нужные люди, живы... Для чего эта странная несправедливость?.. И правду народ говорит, что Богу нужны лучшие, а вся человеческая пакость долго остаётся жить и коптить небо...

Ха-ха-ха!..

Это я смеюсь не над самим собой, а над всеми нашими, оставшимися коптить небо...

Если проследить всю жизнь моего деда, позволительно спросить: «А для чего жил ты, мой судья? Что вышло из тебя? Для чего ты служил науке, а потом убежал от неё?»

А бабушка моя?.. Для чего она дожила до глубокой старости? Народила детей, вырастила их, а от них от пятерых остался только один мой отец.

Дедушка ослеп, и в этом, как оказалось, его, так сказать, провиденциальное назначение. Бабушка моя целыми днями стоит у образов, молится, ездит по святым местам, кормит голодных... И в этом её, так сказать, провиденциальное назначение. Но ведь в этом во всём что-то пассивное жизни. Поддерживать тех, кто умирает, разве в этом цель и задачи жизни?..

Ха-ха-ха!..

Это я и над тобой смеюсь, и над матерью моей, и над отцом... В чём смысл их жизни? Выродили они двух сыновей, и один из них умер Дон Кихотом, а другой – я – живу никому

не нужным пакостником, служу в городской управе за тридцать пять рублей в месяц. Живу и не знаю, для чего я жил?.. Разве кто-нибудь другой вместо меня не мог бы исполнять мои обязанности писца?..

– Ха-ха-ха!..

А ты, отец, скажи: для чего ты жил?.. Лечил других и не верил в медицину. Любил жену и в гроб её загнал. Любил меня и оставил меня в жизни никчёмным человеком. Ну, скажи же, что ты сделал?..

Я расскажу вам и о дедушке, о бабушке, об отце и матери моей, и вы увидите, что я прав: никому они не нужные люди были, и мир ничего не потерял, когда они умерли.

И я ничего не сделал, недаром мне хотят отказать от места и устроить в богадельню. И буду я жить и доживать последние свои, но никому не нужные годы в богадельне имени моего прадеда, купца Власа Артамоныча Дулина... В этом есть что-то символическое! Наш прадед построил богадельню, и в ней будет обитать его последний потомок, рождённый в доме на костях. Я последний в роду Дулиных и в роду Дроздовских. Жил холостяком, умру бездетным... Даже незаконных детей не оставлю после себя, а ведь в них была кровь моего рода в тайном состоянии... И этого я не оставлю!..

## V

После покойной бабушки остался саван... Как это странно, бабушка умерла, а саван её остался...

Я помню, ещё давно, когда я был в первом классе гимназии, она говорила, что у неё в сундуке хранится саван.

– Помните все: умру – в нём непременно положите, – говорила она, поимённо перечисляя дедушку, отца и мать, тётку и всех нас, внуков. – А не исполните моего предсмертного завещания, Бог вас всех накажет.

И мы не исполнили её завещания, и Бог нас наказал. И вот и теперь Бог наказывает всех нас, живущих в старом доме на костях.

Над нашим старым домом висит возмездие Бога, и мы все страждем, и все, кто поселится в нашем доме, и те страдают. Могила человеческого счастья – наш старый дом!

Перед кем мы виноваты?.. Как имя тому существу, которое простёрло над нашим старым домом свою тяжёлую, карающую руку?..

Разве мы не исполнили бы завета старой бабушки Маремьяны, если бы она умерла в нашем доме? Случилось так, что она умерла на чужбине. Поехала на богомолье в Киев, заболела холерой и умерла. Весть о её смерти мы получили спустя неделю после кончины. Разве начальство позволило бы разрыть могилу бабушки, чтобы одеть её в саван и сно-

ва похоронить?

– Разумеется, не позволят, что же об этом и толковать, – говорил дедушка и плакал.

И падали из его «невишных» глаз крупные слёзы, прозрачные, хрустальные слёзы.

– А как же быть: бабушка говорила, если мы не исполним её заветы, Бог нас накажет?..

Это спрашивал я, студент первого курса. Может быть, мне следовало бы стыдиться этих слов? Но мне казалось, что слова покойной бабушки – непоборимый закон, и как бы по своему я ни верил в Бога, всё же я должен бояться и того Бога, в которого верила бабушка.

– И тебе не стыдно говорить так? Ведь ты – студент!.. Какой же ты студент после этого?.. – посмеялся надо мною дедушка.

Дедушка часто упрекал меня и говорил, что я попал в студенты по недоразумению.

Я смутился. В самом деле, какой же я студент, если верую в бабушкина Бога? В того именно Бога, которому она поехала поклониться.

Бабушка уехала поклониться своему Богу. В тот день у нас в городе умерло от холеры десять человек. А перед этим в течение нескольких дней мы только и говорили о холере.

И бабушка сказала:

– Грешны стали люди, Бог и послал мор... Всегда так бывает, как люди забудут о Боге, так он и пошлёт им мор,

или глад, или нашествие иноплеменников...

– Племянников... При чём тут племянники? – спросил дед, немного тугой на ухо.

– Иноплеменников, говорю я... И-но-пле-мен-ни-ков, а не племянников! – рассердившись, выкрикнула бабушка.

– Ха-ха-ха! – рассмеялся дедушка. – А мне послышалось – племянников...

Бабушка сидела насупившись, а через минуту сказала:

– Ты во всём себе усмешку найдёшь!.. Постыдился бы на старости лет...

И ещё через минуту добавила:

– Поеду в Киев молить Бога за всех вас... Выпрошу у него милости и вернусь.

И она сказала это таким тоном и с такой верой в силу своих слов, что и мы все поверили, что вот попросит бабушка Бога, чтобы он смилостивился, и он смилостивится...

И она поехала в Киев замаливать Бога, но умерла от холеры и не вернулась. Бедная бабушка! Как жестоко расправился с нею её Бог! Она ехала просить его за других, а он и её самое не пощадил.

Недаром при жизни она часто говорила:

– Неудачливая я какая-то... Если это Бог испытует меня... ну... Его святая воля... А если это мои человеческие грехи заводят меня на край бездны, что же мне тогда делать, окаянной?..

– Голубчик мой, все неудачи от несовершенства обще-

ственной жизни, – наставительно и безапелляционно заявлял дедушка, всегда вольнодумничавший.

– А несовершенства отчего?

– Ну, этого, друг мой, тебе не понять, – заявлял дед.

А потом долго говорил о несовершенствах общественной жизни и пугал бабушку уже новым страхом. Слушает она, бывало, дедушкину вольнодумную проповедь, а сама осматривается и всё шепчет:

– Да потише ты... неравно жандармы подслушают...

И потом ещё громче добавит:

– Вольнодумец ты, старик... Вот что!..

И бабушка уходила к себе, в угловую комнату. И мы все догадывались, что она там у себя делает: зажжёт перед образом свечку и молится о том, чтобы Бог избавил дедушку от вольнодумства. Этих молитв она не скрывала и от самого дедушки, который в таких случаях всегда провожал бабушку насмешливой фразой:

– Ну, пошла молиться, чтобы Бог избавил меня от вольнодумства. Странно устроены люди! Почему они никогда не попросят Бога, чтобы Он избавил их от глупости или тупоумия?.. Ха-ха-ха!..

До последних лет жизни дедушка смеялся звонким, раскатистым смехом. Голос у него был низкий и слабый, и говорил он негромко, а смеялся зычно, раскатисто, так что его смех слышен был за две-три комнаты. Как будто и рождён был дедушка только для того, чтобы смеяться над другими.



Ничего святого не было для него – ни в нём самом, ни в других.

Мне всегда казалось, что за этим смехом деда скрывается нечто очень важное и таинственное. Мне всегда кажется, что громко смеющиеся люди силятся заглушить в себе какие-то внутренние, таинственные силы, которым нельзя дать власти.

Бабушка всегда говорила:

– Это в тебе, старик, дьявол так громко смеётся... Ты думаешь, это душа в тебе радуется?.. Нет, это дьявол сучит языком...

– Знаю я, старушенция моя праведная, – отвечал обыкновенно дедушка, – знаю, что дьявол, но что мне с ним делать?.. Вынашиваю я его в себе с детства... Ещё покойный отец мой называл меня чертёнком. И знаешь, что я тебе скажу: живи во мне ангел или сам Бог, я только бы ныл, а вот я и смеяться хочу... Ха-ха-ха!..

И он опять смеялся по-своему, страшно и удручающе...

– Тьфу!.. Пошёл опять сучить языком!.. Не люблю я этих слов твоих! – выкрикнет бабушка.

И они разойдутся по своим комнатам, как будто поссорившись, а минут пять спустя слышу, как они беседуют или в угловой комнате бабушки, или в кабинете дедушки. Как бы ничтожна ни была между ними размолвка, они скоро обязательно сходятся, мирятся и целыми часами сидят на диване в комнате бабушки или на оттоманке в кабинете деда

и всё говорят и говорят о чём-то. Тётя Анна рассказывала, что будто бы дедушка всю жизнь старался совратить бабушку на путь вольнодумства и неверия, но ничего не достиг. И с какой-то упорной настойчивостью продолжает свою пропаганду, хотя бабушке уже семьдесят два года, деду семьдесят семь... И каким-то скованным из железа представляется мне мой седой, чудный дед. Отлила его жизнь в определённые формы и сама, даже при содействии старости и болезней, не может побороть бодрого, стойкого духа моего деда...

Если бы мне быть таким...

А как они любят друг друга... И часто я думаю, отчего мы, молодые, не умеем любить так?.. Отчего мой суровый отец не любит меня так? Отчего моя молчаливая и вечно скучающая мама не любит меня так же, как бабушка любит моего отца?

Помнится, когда потом я впервые полюбил одну женщину, я стал понимать силу любви бабушки к дедушке. Говорят, они всю жизнь любили друг друга так. У них хватило любви и для отца, и для дяди Коли, и для тётки Клавдии, которые давно уже умерли... Они любили своих детей, отчего же меня не любит моя мама?.. Звери и птицы любят своих детёнышей, отчего же меня не любят мои родные, ведь я тоже детёныш их?

Рождённое в нашем старом доме всё обречено на отчуждённость. В нашем старом доме на костях только умирать умеют люди и умирают хорошо.

## VI

Всё перепуталось в моих воспоминаниях, и часто я не знаю, где правда, где ложь. Это потому, что и в жизни людей правда и ложь перепутаны.

Вот я только что с восторгом говорил о любви бабушки и дедушки, а оказывается – любви этой нет, настоящей, святой любви, а был только обман и блуд.

Сам дедушка недавно назвал свою любовь и любовь бабушки к нему – обманом и блудом.

Помнится, это было вечером... Тогда ещё жив был мой брат... Я только не помню, когда это было, но помню ясно зимний холодный вечер. Сидели мы в столовой у камина: дед в большом кресле и с надвинутым на глаза зелёным козырьком. Бабушка сидела возле него на маленьком мягком пуфе, а я и брат мой сидели ближе к камину.

Сидя вполупорот к камину и держа перед собою книгу, брат читал нам всем какую-то старинную «чувствительную» повесть. Я не помню её название. Ну, да всё равно, и в той повести, очевидно, было столько же лжи, сколько и в тех людях, о которых была написана повесть. Очевидно, это было так, потому что, после описания одной чувствительной сцены, когда **она** клялась **ему** в вечной верности, дедушка наклонился и потянулся руками к камину. Странно было смотреть на его протянувшиеся руки в красном отблеске догора-

ющих поленьев. И лицо его вдруг сделалось красным, и глаза расширились и показались мне страшными адскими со своей таинственной слепотой. Мне показалось, что дед на это мгновение прозрел, да как и не поверить этому: он дотянулся рукою до рук брата и сильным взмахом кулака вышиб из рук чтеца книгу.

Книга в красноватом сафьянном переплёте сложилась, как должны складываться книги, когда их не читают, и со странным шумом полетела под диван, скользя по паркету.

Я до сих пор не могу забыть голоса деда, каким он крикнул, а он крикнул:

– Володька, брось эту мерзкую книгу в камин!.. Всё ложь, что в ней написано! Женщине нельзя верить... нельзя!..

Что-то ещё бормотал дед хриплым голосом, ворочался в кресле, словно его посадили на горячие уголья, и кричал:

– Не верьте, не верьте им, мерзким и подлым!.. Не верьте!..

Ухватившись за рукав халата деда, бабушка старалась его успокоить и говорила:

– Успокойся, мой друг, успокойся... Ну, мы не будем читать этой книги...

Дед с презрительной миной оттолкнул руку бабушки, поднялся с кресла и злым и громким голосом выкрикнул:

– Пошла прочь и ты!.. Ты такая же обманщица! Ты думаешь, я не знаю твоей тайны... Знаю её, знаю!.. Ты обманула

меня, как и все женщины всегда обманывают своих женихов и мужей...

– Побойся Господа. О чём ты говоришь?..

– Ха-ха-ха!.. Господа вспомянула, а помнила ли ты Господа души своей, когда меня обманывала?.. Прочь! Прочь!..

И дед замахал руками в сторону бабушки. Потом, дрожа, опустил на кресло и застонал...

С плачем бабушка вышла из столовой, и я видел, как она шла и качалась.

А дедушка продолжал стонать, и иногда в его стороне слышался сдержанный смех.

Володя, брат мой, достал из-под дивана книгу и, как показалось мне, со странной внимательностью рассматривал теперь её как какую-то злую виновницу вспышки гнева нашего деда.

– Во-ло-дечка, – вдруг новым голосом протянул дедушка, – ты прости меня, что я погорячился и вышиб у тебя из рук эту книгу... Я хотел только махнуть в её сторону и задел рукою, но я, ведь, ничего не вижу... Не вижу, куда направить мой гнев... А разве нет причины для моего гнева?.. Есть... есть!.. Она, ваша бабушка, обманула меня. Притворилась, что любит... Это ещё тогда было, когда мы были женихом и невестой. А когда я стал её мужем, я узнал, что она принадлежала другому...

Дед снова задвигался на кресле словно обожжённый, протянул руки к камину и продолжал:

– А знаете вы, с кем она меня обманывала?.. Нет, не то... Знаете вы, кому она принадлежала?.. Яшеньке... Яшеньке-молчальнику. Святому человеку... Ха-ха-ха!..

Мы все вздрогнули. От двери в гостиную послышался звон разбитого стекла. Бабушка стояла в дверях, а перед нею на полу лежал разбитый стакан, и так странно у порога двери поблёскивала вытянувшаяся лужица разлитой воды. Бабушка несла стакан с водою для деда, как всегда делала это, когда им овладевал приступ гнева. Очевидно, она услышала последние слова деда, и стакан выпал из её рук. Теперь она стояла в дверях с протянутыми руками и что-то бормотала. Я явственно слышал только слова:

– Не верьте!.. Не верьте ему!.. Не верьте!..

– Ха-ха-ха! – разразился дед страшным едким смехом. – Не верьте!.. Нет, дети, верьте!.. Она и он, этот белый, снеговой, святой дед, обманули меня... О-о-о!.. Тогда он был молод, красив, знатен... Он покорял сердца уездных красавиц... Ведь это он только теперь юродивый святоша, ходит по городу да морочит дураков своей какой-то особенной святостью, а тогда, когда бабушка ваша была красавица, он был соблазнитель, соблазнитель!.. Ха-ха-ха!..

– Пощади ты мои седые волосы, – взмолилась бабушка, – что ты им говоришь несуразное...

Медленно ступая и придерживаясь за спинки стульев, упираясь руками в стол, в край пианино, бабушка шла к нам, и было её лицо бледное и страдальческое. Но в голосе её слы-

шался гнев. Она говорила:

– Ты с ума сходишь... Ты из ума выжил!.. Это Господь наказал тебя, атеиста, безбожника... Статочное ли это дело, чтобы Яшеньку впутывать в наши мирские дела...

– Ха-ха-ха! – прервал дед слова бабушки смехом. – Теперь вы духовно соединяетесь с этим старым прохвостом, а тогда... знаю я... вы плотски соединялись...

– Замолчи!.. Замолчи!.. А то я скажу, как ты...

– Что, как я? – спросил дед, и в голосе его послышалась мягкость и какая-то тревога.

Злым голосом, каким бабушка никогда не говорила, несчастная старуха заявила:

– Я расскажу детям, как ты убил дочь лесничего... Что? Замолчал?... Замолчал?..

– О чём она говорит, дети? – спросил дед и развёл руками куда-то в сторону, где нас и не было.

Я едва удержался от смеха: так смешон был жест деда к камину.

– Вот я так, действительно, могла бы рассказать правду о тебе и о той несчастной девушке, которую ты обольстил, будучи известным профессором и моим мужем.

Эта фраза также показалась мне смешной, и я опять едва сдержался, чтобы не рассмеяться. Посмотрел я в сторону брата. И он стоял и кусал губы, очевидно также борясь с желанием расхохотаться. Такой смешной и странной показалась нам сцена этой ссоры старичков на романическую те-

му.

Очевидно, была какая-то правда в словах бабушки, если после её замечания дед словно осел и смирился. Но очевидно так же, что была какая-то правда и в том, что говорил дед.

После ужина в тот же памятный мне вечер, когда старики, примирённые мамой, остались в столовой, когда все уже разошлись, а я готовил себе воду, чтобы пополоскать зубы, я услышал отрывок разговора деда и бабушки.

Он говорил:

– Зачем ты хочешь поколебать мой авторитет в глазах внучат? Ну зачем говорить о том?..

– А ты меня упрекаешь... Ты не жалеешь моих седин? Тебе меня не жаль?

– Ну, будет... будет об этом... Примиримся. Нехорошо ссориться на ночь... Быть может, утра мы с тобой не встретим... Смерть не за горами, надо быть ко всему готовым... Ты меня простишь, я тебя...

Бабушка склонилась над дедом, и я слышал, как мёртво прозвучал их странный старческий поцелуй...

Какая странная, жуткая эта сцена. Ужели и теперь, на склоне лет, когда замолкли в этих людях источники страсти, и похолодели сердца, страшный червь ревности всё ещё беспокоит их?

Как странно устроена душа человека!.. Впрочем, может быть, это сердце так странно устроено, а, быть может, это тела их всему виной. Ведь были же они молоды, и горели



их тела страстями. Может быть, это какое-то воспоминание тела?.. Вот странно – воспоминание тела! Разве же можно так сказать?

В одном я только теперь не сомневался, это в том, что та любовь, которой я любовался, наблюдая деда и бабушку на склоне их лет, эта любовь также не без тёмных пятен. И они вовсе не любят друг друга так, как казалось мне...

Нет ничего святого в нашем доме...

## VII

Как сейчас я смотрю на этого странного, величественного старика. Вместе с другими впечатлениями детства запало в память представление о нём, и он как таинственное существо занял в моей душе какое-то особое место, большое место...

Его все звали Яшенька-молчальник. И он действительно молчал. Жил и молчал, ходил и молчал, спал и молчал. Вечной могилой веяло от него живого, и была тайна могилы в его молчании.

Живым он схоронил в себе душу, и она умерла в таинственном молчании и погребла с собою и радости, и печали, и молитвы, и проклятия, и страсти свои мятежные...

Таинственная, поэтически-красивая дымка неразгаданного окружала его образ в те времена, когда я впитывал в себя первые впечатления. Жизнь протянулась как большой свиток, разнообразно исписанный и раскрашенный, и всё же одним из ярких образов остался всё тот же величественный седой старик Яшенька-молчальник, странный и непонятный старик, внушающий страх и симпатию.

В нём была какая-то особая краса, – краса наших глухих степных поместий, маленьких городков, сёл и деревень, утопающих в суровые зимы в глубоких голубеющих сугробах снега. Представление об Яшеньке-молчальнике почему-то

неразрывно сцепляется в памяти, именно, с этими глубокими снежными сугробами, по которым в бурные ночи носится метель, а в ночи лунные снега серебрятся или переливаются расписными коврами алмазных бус.

Он был совсем-совсем седой, с большой белой бородою и с длинными белыми волосами как у дряхлых священников или у тех схимников, которых мне доводилось видеть в глухих лесных скитах на гористом побережье Камы. И зиму, и лето он носил длинную белую рубаху, напоминающую женскую сорочку, но только значительно ниже колен и с закрытым воротом.

Он и сам представлялся мне рождённым сугробами снежным человеком, – человеком из чистого снега, который никогда не растает. Как символ какой-то, – символ той, давно прошедшей, глухой жизни провинции, представлялся он мне в юности, да и теперь его образ ещё витает предо мною призраком суровой зимы нашей минувшей жизни.

Помнится, и я, и брат мой, и все мои сверстники, – мы боялись Яшеньки, и, вместе с тем, мы любили его какой-то особенной пытливой любовью. Нам представлялся он не человеком, потому что тех, кого мы боялись, мы не любили, а так можно относиться только к человеку. Яшенька же представлялся нам существом выше человека или вне рамок представления о человеке... Взять хотя бы то: и зиму, и лето он ходил в одной и той же тонкой рубахе-хитоне. Ведь только у зверей шерстистая шкура одна и та же и для лета, и для зи-

мы. Может быть, и в нём было что-то звериное. Но и тогда он не похож на человека, пусть тогда он ниже человека, но всё же он был волнующей тайной и в своём молчании человека, и по своей внешности, напоминающей зверя...

Прошлое Яшеньки отнюдь не загадочное. Напротив, вся его жизнь прошла на глазах его сверстников. Бабушка, например, моя знала его ещё юношей, знатного и богатого рода на всю нашу глухую губернию среднего Поволжья.

– Андрея Ефимыча Росткова знала я хорошо ещё с тех пор, когда мне и семи лет не было, – говорила бабушка, – богатый был барин, знатный, но изверг и смутьян на всю губернию.

– А кто этот Андрей Ефимович Ростков? – спрашивали мы, недоумевая.

– А это – отец Яшеньки...

– А разве отец его был помещик? – с недоумением спросил брат. – Я думал – простой мужик... Яшенька так похож на мужика...

Я возразил брату:

– На мужика он не похож, он похож на святого.

– А мужики разве святыми не бывают? – спросил брат, очевидно, по привычке, желая втянуть меня в спор.

Как бы не слыша нашего спора, бабушка продолжала:

– ...Богатый был Андрей Ефимович и знатный, при государе Павле Петровиче при дворе служил, и за что-то его государь услал в своё имение навсегда... Но только память

по себе худую оставил он и у нас в уезде. А потом и сынок его по его же стезям пошёл. Что поделаешь – яблоко от яблони...

– А Яшенька тоже офицером был? – почему-то спросил брат.

– Никаким офицером он не был. Сначала был благопристойным кавалером, хорошо танцевал, а потом вдруг всё мечтал и говорил, что, мол, хочу быть разбойником и пойду на Волгу богачей грабить, а разграбленное, мол, отдам всё бедным людям. Стенькой Разиным хотел быть. Бывало, оденет бархатные шаровары, красную шёлковую рубаху, сапоги из красного сафьяна, а через плечо ружьё, да и пойдёт в лес птиц бить. Палит-палит зря, а домой придёт, начинает нам рассказывать разные выдумки: как, мол, я встретил в лесу на дороге купеческую тройку, да как я убил купца с купчихой. И всякое такое глупое. А потом, когда батюшка умер, то он хозяйствовать стал, а какое его хозяйство: крепостных мучил, девушек сколько перепортил, торговал людьми...

Это сообщение бабушки повергло меня в печаль. Почему-то мне показалось, что если Яшенька и не из мужиков, то душа у него должна быть близкая к мужику. Ведь так похож он сам на мужика: борода большая, нос мясистый, глаза голубые. Мне хотелось думать о Яшеньке как о добром, святом человеке, а между тем о нём такое страшное рассказывает бабушка.

В моих представлениях часто рисовалась такая картина.

Суровая снежная зима. Оголённые печальные леса утопают в снегах, белый полог снега лежит и на полях, под белым саваном снегов залегли, схоронились сёла, деревни и хутора. Вдруг тёмной ночью поднялась, заголосила снежная буря. С рёвом и визгом пронеслись по полю крутящиеся, быстро несущиеся валуны снега. Лес загудел, угрожающе-таинственно застонала степь, и испуганно заплакали крошечные хатки деревень и ещё глубже спрятались в белые снежные саваны. В волнующейся кисее метели, с гиканьем, с посвистом явился откуда-то седой старик, с большой белой бородою, с большими белыми снежными волосами и в длинном белом хитоне. Встал он из-за леса величественным и громадным, простёр из темноты большие белые руки и зашагал по полям, и чрез леса переступал, перепрыгивал через горы и холмы...

Воющая и стонущая буря зимы родила Яшеньку. Он – не человек, а другое непонятное мне существо, такой ясный в своём прошлом, такой таинственный в своём жутком молчании. Он как призрак не страшит своим прошлым, но всё, что в нём от сегодня, – всё это жуткое и страшное в своей тайне. Он пришёл внушить людям презрение и страх к прошлому и утратить тайной будущего. И мы должны бояться его и любили, потому что он не человек, а другое таинственное существо с мистическим страхом в глазах и с любящим сердцем.

Я рассказал бабушке о своих представлениях. Она погладила меня по голове, поцеловала и сказала:

– Какой ты у меня... А!.. Молчание его, действительно, жутко... Ты вот говоришь, что Яшеньку родила снежная буря. Это ты хорошо сказал, образно... Только не из снежной бури родился Яшенька, а из бури жизни...

– Как это?..

– Как это, бабушка? – в один голос выкрикнули мы с братом, неясно представляя себе тот другой образ, туманно зарисованный бабушкой.

– А так, други мои, из бури жизни. Бурно прожил Яшенька свою молодость и много греха принял на душу, много людей перегубил... а потом... меня обманул...

Бабушка как будто смутилась отчего-то, разом оборвала свою речь и, вынув из кармана бархатного капота платок, принялась сморкаться... И продолжала она свой рассказ:

– Вот вы на море не бывали и не знаете. Вот и слушайте, что я расскажу...

Мы ближе придвинулись к бабушке и притаили дыхание, а старая милая рассказчица продолжала:

– Когда море волнуется в бурю, по нему ходят большие волны. И выбрасывают те волны на морской берег белую пену. И долго лежит та пена на песчаной отмели и как живая дышит, когда до неё прикоснётся морской ветер. И зовут ту пену моряки-рыболовы «морским детищем». А когда отплывают на промысел, то берут ту пену, моют ею руки, и лицо, и грудь, – и плывут на судёнышках безбоязненно. А когда спросишь старого рыбака: «Для чего, – мол, – ты, дедушка,

это делаешь?» – «А для того, – скажет, – что теперь вот я побратался с „морским детищем“ и стал морю-океану как бы брат родной, а море-океан теперь, значит, приходится мне матерью родной. Пожалеет оно меня как своё родное детище, а пожалевши – вскормит, это, значит, добычей не обидит... а, вскормивши, и от погибели уберезёт»...

Глаза бабушки расширились и потемнели, а лицо стало точно помолодевшим и вдохновенным.

Она продолжала:

– Так-то вот, други мои, умоют себя рыбаки пеной морской лицо, руки и грудь и плывут в море без опаски, а на берег возвращаются с добычей... Так точно вот и Яшенька как пена морская. Только уж тут выходит так, что вместо моря-океана надо разуметь жизнь, бурную как море. И вот эта жизнь и выбрасывает из своих волн таких вот как Яшенька юродивых людей, с печатью благодати небесной, бессребренных, кротких и любвеобильных братьев всему человечеству... И зовут их у нас «на старине» **пеной жизни**, рождённой бурными волнами житейского моря... Надо любить их как братьев наших, а тогда и жизнь для вас будет как родная мать, а не злая мачеха... Дедушка вон наш, профессор-то, всё смеётся над Яшенькой да и меня корит: зачем я допускаю его в дом наш, а того не понимает профессор-то наш, что Яшенька – пена житейского моря, с ним побратаешься, и жизнь для тебя будет матерью родной.

– Бабушка! Но, ведь, Бог велит любить не одних юроди-



вых, но и всех людей как братьев! – воскликнул Володя.

– И-и, голубчик!.. Бог-то велит, а разве мы это исполняем? Куда уж там всех-то любить, верно, это не по сердцу человеческому. Хорошо, если мы будем любить и таких как Яшенька, сырых и бесприютных, раскаявшихся в грехах своих и уготовавших себя Господу Богу. Грешника мы любим в таких как Яшенька, потому – не согреши он, для чего бы ему было и раскаиваться... Так-то, други мои...

Я долго раздумывал о том, что услышал от бабушки, и никак не мог понять смысла сказанного. Почему же непременно надо согрешить, чтобы потом покаяться и быть угодным Богу? Дедушка мой грешил и не думает каяться, и даже Бога он не признаёт...

Дедушка мой и Яшенька... Когда я ставлю их обоих рядом, мне кажется, что это какие-то непохожие друг на друга люди, и вместе с тем в них есть что-то и общее. Раз бабушка их обоих одинаково любит, значит есть в них что-то общее. Если Яшенька не любит дедушку, а дедушка ненавидит Яшеньку, значит нет между ними ничего общего, нет сходства...

Как-то раз, когда Яшенька сидел в гостиной, а бабушка молча сидела около него, молчаливого, дед позвал меня к себе в кабинет и сказал:

– Пойди, погляди – ушёл этот старый дурак?..

Когда я вернулся и сказал, что бабушка и Яшенька сидят в гостиной друг против друга и оба молчат, дед выкрикнул:

– Что же они молчат?.. Ха-ха-ха!.. Пойди и позови ко мне бабушку...

Когда мы с бабушкой вошли в кабинет деда, он усмехнулся и спросил:

– Скоро вы там намолчитесь?..

– Что тебе он мешает-то? – спросила бабушка с неудовольствием в голосе.

– Да, ведь, глупо это – сидеть друг против друга и молчать...

– Ты оставь меня в покое!.. Я рада, что он пришёл...

– Ну ещё бы тебе не радоваться!.. Ха-ха-ха!..

– Приходит он и счастье приносит в дом... А дом... наш...

– Да, дом наш, – загадочно протянул дедушка, – дом наш на костях человеческих построен, оттого в нём всё так несурово и беспокойно...

Лицо деда вдруг отчего-то покраснело, он заёрзал на диване и крикнул:

– Прогони ты этого дурака!.. Иначе я пойду и палкой выгоню его. Я ненавижу его! Я презираю его! И тебя ненавижу!.. Прогони!..

Когда Яшенька ушёл, и бабушка, хмурая, вошла в кабинет деда, последний сказал:

– Как только он придёт к тебе, я удавлюсь... Слышишь?..

– Полно, старик, людей-то смешить, Бога-то гневить...

– Удавлюсь!.. Удавлюсь!..

Дедушка кричал, топал ногами, а бабушка утирала глаза

платком и шмыгала носом.

– Что шмыгаешь?.. Плачешь?.. О чём плачешь? О том, что и он, и ты стары стали? А?.. Ха-ха!.. Проклятые вы оба, и самая проклятая – ты... Уйди отсюда, уйди...

## VIII

– Бурное это прошлое и страшное как гроза в ночи, – продолжала свой рассказ бабушка, о тех давно прошедших временах, свидетелем которых она была. – Знатные да богатые люди жили вольно, а мужики и бедняки – в неволе. Говорили сильные: «Не борись». Говорили слабые: «Покоряемся»..., а больше молчали... А и в молчании есть сила, только она наружу не выходит, а таится в душе. Эта сила тоже большая, и, спаси Господи, затронуть её... Вон Яшенька-молчальник, разве не сила он?.. И так, други мои, жили люди во грехах, Бога упоминали, а не знали Его да и знать не хотели. В грехах суровых жили почти все помещики в православном государстве. Жили в своё удовольствие, ничего не делали, а крепостные батрачили, изнывали, чахли, мёрли... Это бы и ничего: что поделаешь, так, значит, жизнь сложилась. Отец Яшеньки, Андрей Ефимыч Ростков, жил богато и знатно, говорила я об этом. И были у него два сына да дочь, а жена-то у него умерла: руки на себя наложила... Андрей Ефимыч из крепостных девок гарем у себя в усадьбе устроил, а жена взяла да и руки на себя наложила, в дверях этого гарема и удавилась. Андрей Ефимыч со своими девками забавлялся в гареме, вино с ними пьёт, музыка играет, пляс слышен, а в дверях висит труп женщины, милой такой... Выходит старик из гульбища, а в дверь его кто-то не пускает. Глядит, а чело-

век висит... Вот как вышло!.. С тех пор и навалились на дом Росткова несчастья. Старший брат Яшеньки, Николай, утонул в пруду своём. Пьяный купаться задумал с товарищами своими, а потом и говорит: «Я, – говорит, – могу полчаса под водой пробыть и не дышать»... Нырнул да так и не показался, а потом и вытащили его мёртвого... Ну, так вот! Старший брат утонул, а сестра вышла замуж за помещика Глумили-на, а тот её собственными руками и пристрелил. Жесток-кий был человек, роста саженного, борода лопатой, а руками подковы железные разгибал. На стул сядет – трещит под ним стул. На лошадь в седло усядется – лошадь спину изгибает...

– А за что же он пристрелил жену? – спрашиваем мы.

– А Бог знает – за что. Никто и не знал этого. Говорили, будто нечаянно. Вместе они с женой на волков в облаву хо-дили и били зверей пулями, а потом и вышло так, что од-на пуля в жену Глумили-на попала. Как это случилось – Бог весть! Может и нечаянно, а, может, и нарочно сам Глумили-н застрелил свою жену. Люди разное говорили в то время, все-го не разберёшь и не поймёшь.

Бабушка говорила таинственным голосом, и мы чувство-вали, что чего-то она не договаривает, но уже не расспра-шивали. Потом, когда мы подросли, бабушка созналась, что раньше не всё нам рассказала.

– Боялась осквернять ваши детские души, вот всего и не договаривала. А вышло вот как. Родился у жены Глуми-лина сын, красавчик-мальчик. А до того лет десять у жены

его детей не было. Родился мальчик, а с лица-то он походил на одного генерала. А генерал этот гостил летом в поместье Глумилиных. Вот всё Глумилин и изводил свою жену и корил её. Задушить всё грозился, а потом и застрелил. Будто нечаянно, не хотелось в ответе быть, а жена у него – голубка кроткая была и всё жалела крепостных своих людей и оберегала их от издевательства мужниного. Так и умерла голубка, подстреленная на волчьей облаве.

Я старался зарисовать в представлениях своих образ убитой помещицы Глумилиной, которую бабушка назвала голубкой, и эта неведомая мне женщина представлялась мне мученицей... Лежит она убитая на белом снегу, и алая кровь на снегу: алая кровь на белом!.. За что её убили, я не понимал. Пусть, если и виновата в чём-то, зачем же убивать? Зачем разливать алую кровь на белый снег? В детские годы жизнь представлялась мне раем. Когда говорили о рае, мне хотелось думать, что говорят о жизни. Когда говорили о жизни, мне хотелось думать, что говорят о рае. И жизнь была так хороша, несмотря на все несчастья, обрушившиеся на наш дом, построенный на костях человеческих.

– Бабушка, зачем обрывают жизнь как струну? – спрашивал я бабушку.

– Сама она, голубчик, обрывается...

– А жену Глумилин убил? Оборвал струну...

– Не знаю, голубчик... Вырастешь, всё сам узнаешь, разгадаешь...

Я размышлял о жизни, думал и о будущем, а бабушка продолжала свой рассказ:

– Потосковал-потосковал Андрей Ефимыч после смерти дочери, а потом вскоре и сам Богу душу отдал. Умер тоже так, точно небо его наказало за всякие прегрешения. Громом-молнией его убило, вот как и отца моего покойного, что рассказывала вам, что дом-то наш строил...

Бабушка перекрестилась.

Мы даже забоялись при этих словах бабушки. Как-то особенно она сказала, что небо наказало Андрея Ефимыча. Как будто и в момент рассказа над усадьбой нашей разразилась гроза.

– Поехал Андрей Ефимыч в поле, где рожь жали. И было это накануне Ильина дня. А лето в тот год удалось засушливое, и все хлеба посохли. Всё бранил Андрей Ефимыч небо: зачем, мол, оно хлеба жжёт, и солнышко бранил нехорошими словами. Так рассказывали старые люди. Выйдет на террасу и ну бранить небо и солнце, точно ровней своих либо подчинённых бранить: зачем, мол, хлеба высушили. А в Ильин день у них в Ростковке мужики праздновали, потому и церковь у них в честь Ильи-пророка. Говорили мужики Андрею Ефимычу: мол, не надо бы небо-то нехорошими словами бранить, а он всё своё: и в поле выехал и всё на небо посматривает да ворчит. А в тот день всех мужиков и баб в поле выгнал. Работали плохо, потому трудно было редкую да сожжённую рожь жать. А по небу-то тучки ходят, да всё

густеют, да густеют. Смотрят люди на небо и думают, и говорят: быть грозе. А день был душный, и всяк радовался дождичку. А для нашего Андрея Ефимыча и тут Господь не угодил. Поднял лицо к небу и опять бранить: «Вот, – мол, – когда надо было ржи расти, дождя не было, а вышли люди рожь убирать, и небо дождя хочет дать, только мешать будет работать»... А народ в нашей стороне тёмный жил, во всякую глупость верил. Загремит на небе гром, заблестают молнии, а люди тёмные говорят: «Это Илья-пророк на огненной колеснице по небу разъезжает да стрелы огненные на землю бросает, в грешников норовит»... Вздор, конечно, всё это, потому молния от электричества происходит. Не сумею я вам хорошенько-то объяснить, как это происходит. Дедушку, вон, спросите, он всё знает...

«Ходит по ржаному полю Андрей Ефимыч и всё ворчит на мужиков, а тут и браниться стал: всё торопил с работой. А кто поперечил, того нагайкой-арапником давай нахлестывать, кого и совсем окровавил. Собралась чёрная туча на небе, собралась, нахмурилась да и пошла дыбом на землю и разразилась проливным дождём. А тут заблестали молнии, загрохотал гром. Пустился Андрей Ефимыч скакать домой на своём кровном рысаке. Скакал, скакал, а тут молния и хватъ его в самую голову. Упал и бездыханен. Почернел весь, у рта – пена. А народ собрался около почерневшего барина и говорит: „Наказал Господь, послал своего пророка Илию, и поразил он грешника стрелой огненной“.



Схоронили Андрея Ефимыча честь-честью, потому народ, видя его смерть от руки самого Господа, простил ему всякие прегрешения. У нас на старине было поверье такое: будто тот человек, что молнией убит, заслужил Божье прощение. Будто смертью этой умирает тот человек, который никогда не кается в своих грехах и Господа о прощении не просит. И будто бывает у такого человека от страха перед небом смущение, и в одну минуту он мысленно обратится к Богу и попросит у Святого прощения во грехах. А после этой минуты и опять забудет о Боге. Вот тут Господь и берёт его к себе в редкую минуту раскаяния, потому, если жив останется, опять будет грешить и не каяться... И остался на белом свете его сын Яков Андреич, один-одинёшенек, без надлежащего надзора, без доброго совета. Яков Андреич жил в своей усадьбе, а наша усадьба была недалеко от Ростовки, всего версты за полторы, на краю деревни. В семье у нас хотя и водились купеческие порядки, но жили мы не хуже дворян: богато, сытно. Отец мой большой делец был и „деньгу умел делать“, как говорили у нас на старине. Сам-то Яков Андреич остался у меня в памяти с того дня, как появился в деревни. Жили мы открыто, молодёжи у нас в доме было видимо-невидимо: три сестры мои родные да две двоюродные, сиротки, у нас воспитывались. Были и два брата у меня, Якову Андреичу в годах. Столько веселья, забав разных, сластей, музыки да танцев было в нашем доме, что страсть, а отец мой любил, чтобы в доме шум да веселье бы-

ли. А до того Яков Андреич в „дворянском полку“ учился и хотел в офицеры выйти, гусаром хотел быть. Уж и не знаю, почему его отец в ученье отдал: не прилежен он был. Баловником каким-то рос да так баловником на всю жизнь и остался. Из „дворянского полка“ его выгнали за какую-то провинность. Приехал он в деревню, и пошло тут веселье вместе с нами. Шалости было столько, что вспомнать стыдно. Тут вот и начал наш Яшенька в разбойники играть да песни волжские петь, а слухи про него пошли недобрые: стал очень крепостных притеснять. Приехали к нему товарищи, офицеры. Охоты да гульбища пошли такие, что отец мой, на что любил веселье, и тот перестал отпускать нас в усадьбу Ростковых. А там вышло так, что Яшенька наш – Стенькой Разинным мы его тогда звали, – вышло так, что Яшенька наш в Петербург с офицерами уехал, а там слышим и сам в офицеры вышел и года три или четыре у себя и в усадьбе не показывался. Только, бывало, и дела к усадьбе: пишет бурмистру – высылай денег, а денег нет – торгуй крепостными. Тут ещё и наследство он получил: тётка родная умерла где-то в Курской губернии. Имение-то он продал и пошёл столичный кулёж. А потом вдруг Яшенька наш домой вернулся, а из полка его выгнали. Приехал другим, всё книжки разные читал и крепостным никаких притеснений не делал. С нами опять знакомство завёл, а танцевать уже не танцевал. Угрюмый такой стал и всё начальство своё бранил: „За что, – мол, – меня из офицеров выгнали?“ Начальство бранил, а тут и о бун-

тах стал поговаривать. Про „декабристов“ всё нам разное нашёптывал да подбивал братьев моих: „мол, – пойдёмте в народ бунты устраивать, начальство свергать“. Ничего из его слов не вышло, а только начальство-то стало им недовольно. Генерал какой-то приезжал, увещевал, а как генерал уехал, тут наш Яшенька за старые свои дела принялся. То говорил, что надо крепостных освободить, а тут начал так притеснять своих крепостных, что чего не было и при отце его. Совсем свихнулся парень да и только! Бурмистр у него был, Агафоном звали, его убил. Призвал как-то Агафона и говорит: „Чтой-то у тебя больно борода огненная?“ Рыжий Агафон-то был. Взял он да подпалил Агафону бороду свечей сальной. Поплакал-поплакал Агафон о своей бороде, всю жизнь растил, и в один миг спалена была, поплакал да и слёзы утёр. „Ты, – говорит, – старый вор, должен стоять предо мною на вытяжку как солдат“. А где же старому человеку вытягиваться – старая спина своё берёт, а было этому Агафону лет девяносто, крепкий был человек... А потом прошло немного времени, рассердился он на Агафона за что-то и давай его хлестать нагайкой по голове да по лицу. „Отец, – говорит, – оставил мне в наследство нагайку, вот и буду вас ей обучать!“ Обучал-обучал Агафона нагайкой да и захлестал насмерть. Первое душегубство совершил, а там и пошёл зверничать. Ну, дело с Агафоном замяли, не судили его. Когда насчёт народных бунтов говорил, приехал генерал и пригрозил Сибирью, а как человека убил, так ему и Сибирью не грозили.

Вот, ведь, какие времена были старые».

Бабушка смолкла, посмотрев на нас слезящимися глазами и тяжело вздохнула. Как будто встал из её воспоминаний прошлого образ Якова Андреича и не давал ей покоя, да и нас, юных, заражал беспокойством и смятением.

Тени былого и страшного не всегда можно беспокоить безнаказанно. Приходят они, вызванные из тьмы минувшего, и не кажутся бесплотными, а облечёнными в плоть. Правда, Яшенька-молчальник не похож на того Якова Андреевича, о котором рассказывала бабушка, но, ведь, и этот Яшенька-молчальник не походил бы на себя, если бы он не был когда-то дерзким и жестоким помещиком...

– Так-то вот, други мои, он и начал свою молодость. Сколько народа перепортил. Ни стариков, ни детей не щадил. И стонали наши ростковские пахари, да и помещикам-то соседним, особенно из небогатых да из мелкопоместных спуску не давал. Отца моего боялся, потому – он и сам довольно жестоким был. А вот Егорьевские да Глумилины, опять же Овсянниковы, – так те им были разорены. И так жил он до тридцати пяти лет, а потом вдруг и пропал. Всю губернию на ноги поставили, искали Якова Андреича, думали, не из мести ли кто с ним разделался, не убит ли он? Имена взяли под опеку, а тут как снег на голову вдруг приехала из Твери дальняя родственница его, Пелагея Савишна Росткова. Молоденькая такая барынька, красивенькая, фамилия-то её не Росткова была, а Сущинская. Приехала к нам

да и заявила: «мол, – Ростковка теперь моя, потому Яков Андреич подарил мне её». И документы показала надлежащие. «А где, – спрашивают, – Яков Андреич?» – «А он, – говорит, – подарил мне все свои усадьбы и леса и поля, а сам ушёл на Афон и в монастыре поселился».

«Лет десять, а может и больше так прошло, и никто об Якове Андреиче ничего не слышал. Вдруг является седой старик и ничего не говорит, словно у него и язык отрезали. Это и был Яшенька. Потом мы уже от афонских монахов узнали, что Яков Андреич наложил на себя обет молчания... Молчальниками такие люди называются»...

– Бабушка, почему же он молчальником стал?

– А потому и молчальником стал, что совесть ему покоя не давала. Ведь, он Агафона, бурмистра своего убил. Суда над ним не было, а совесть своё взяла. Жил Яков Андреич припеваючи и о своём разбойном деле не помнил, а совесть своё брала: напоминала ему повсечастно. Это хуже всего для человека, когда он суд людской обойдёт, а суда Божеского над ним ещё не учинено. Изведётся такой человек и руки на себя наложит или пойдёт и покается...

## IX

Помнится, было уже далеко за полночь, когда бабушка кончила свой рассказ и сказала наставительное:

– Ну, други мои, идите спать, а об остальном уж расскажу как-нибудь потом.

Пошли мы в детскую и долго не могли заснуть в эту ночь. Какой-то неуяснённый страх принесли мы с собой в детскую, сдвинули кровати ближе к печи и подальше от окон и двери и лежали под одеялами, то перебрасываясь краткими фразами, то замолкая и прислушиваясь, как где-то далеко лают собаки, шумят деревья в саду у окон, тикают часы в столовой. По временам со двора доносится дробный и звонкий звук трещотки ночного сторожа Луки.

Лука тоже седой, сгорбленный старец, с белой бородой, отвисшими бровями и с выцветшими глазами. Я представлял себе Луку, и он казался мне похожим на Яшеньку-молчальника, и звук его трещотки в эти мгновения моих представлений приобретал для меня иной, особенный смысл. Лука тоже молчаливый человек, да и говорить-то ему трудно: нет зубов у старика. И представляется мне его звонкая трещотка, будившая ночную тишину, его особенным старческим голосом, голосом глухой тёмной ночи...

Брат скоро заснул, а я всё раздумывал о Яшеньке-молчальнике. Я не мог себе представить, как же это так: чело-

век обрекает себя на молчание до конца жизни? Если бы мне завязали рот полотенцем, я, конечно, не мог бы говорить или кричать, но я стал бы мычать. Но знать, что никто не зажимает тебе рот и молчать много лет, – как же это можно?

Потом я просил бабушку рассеять мои детские недоумения, и она сказала:

– Это, друг мой, великий подвиг. Не всякий человек способен на такое отрешение от себя и от мира. Только люди с большой волей и с большим решением могут налагать на себя обет молчания как крест покаяния и смирения. Много нагрешил Яков Андреич, а потом заглянул в бездну греха и понял тьму своей жизни. Увидел тьму своей жизни и замкнул уста, раскрывши свою душу пред престолом Всевышнего Судии... «Приими, – мол, – Господи, мою душу и суди. Окаянные уста мои безмолвны и на хулу, и на оправдание пред Тобою, и на просьбу о Твоей милости»...

«И жил Яков Андреич в усадьбе своей, а поселился-то не где-нибудь в хоромах нарядных, а в старенькой бане, которую для него ухитила новая владелица усадьбы. Целые дни, бывало, молится Яшенька, а ночь придёт – выйдет в поле да и бродит белым призраком по дорогам и тропинкам. Раньше на тех же полях тешил плоть свою греховную, а теперь бродит как белая тень. С этих пор он и стал носить хитон, вроде как бы женская сорочка, а от обуви отказался... И дивное дело! Мороз точно боялся его. Бывало, холод страшный на дворе, а он идёт по снегу и хоть бы что! Так-то вот по но-

чам и бродил он по полям, в разных местах становился на колени и всё молился. Точно просил сырую землю под снегами: „Согрешил я перед тобою, сырая земля, мне родная, полил тебя потом чужим и кровью человечесьей, а теперь каюсь перед тобою и молю – прости меня, грешного, отвергнутого Богом“...

Часто видали его и на могилке Агафона. Придёт на могилку раба своего, станет на колени и молится на почерневший крест и молит душеньку убиенного Агафона, чтобы душенька мученика предстала пред престолом Всевышнего и замолила за его, убийцу, грехи тяжкие... Народ простил Якову Андреичу все его прегрешения и стал называть его Яшенькой как ребёнка какого невинного. В ласковом имени этом и смягчил свой суровый народный суд»...

В первый раз в жизни я увидел Яшеньку-молчальника за долго до рассказа бабушки.

Это случилось в нашем городском доме, утром, в какой-то большой праздник.

Случайно вышел я в зал и увидел седого старика в длинном белом хитоне. Сидел он в переднем углу, на стуле, около маленького овального столика, – сидел, положив руки на стол и свесив голову. Около старика сидела бабушка в праздничном платье, с чётками в руках. Немного поодаль стояла тётка Анна в скромном тёмном платье и что-то тихо говорила, словно жалуясь на что-то седому молчаливому гостю.



В окна светило яркое зимнее солнце морозного дня, когда так ослепительно блестит снег. Падали лучи солнца на паркет зала, отражались в стёклах больших картин на стене; кровавыми пятнами отражались лучи солнца и на мебели из полированного красного дерева.

Ослеплённый отблесками солнца и увидя белого старика, я приостановился в дверях в зал, вздрогнул и выронил из рук чашку жидкого чая, которую нёс по поручению бабушки в зал. Я не знал, кому предназначалась эта чашка, и, если бы мне бабушка сказала, что в зале Яшенька-молчальник, я отказался бы исполнить её поручение. О молчальнике я много слышал рассказов и боялся встречи с этим таинственным человеком.

– Что ты наделал!?! – окрикнула меня тётя Анна и пошла ко мне.

– Экий, ведь, какой! – заворчала и бабушка.

Я стоял с опущенными глазами, дрожал и боялся взглянуть в сторону белого гостя.

Бабушка подошла ко мне, взяла меня за плечи и, подталкивая, повела меня к переднему углу.

– Иди, извинись перед дорогим гостем, а потом принеси другую чашку...

Белый гость как-то странно заворочал пухлыми седыми усами и бороною, как будто силился что-то сказать. Пристально осмотрев меня, он несколько раз поманил меня рукою. Я подходил к Яшеньке не по доброй воле, всё время

чувствуя за спиною руку бабушки. Вот я подошёл к белому гостю с опущенными глазами, испуганный и смущённый.

Яшенька взял мою руку, и я почувствовал его пухлые и мягкие пальцы тёплой руки. Яшенька поднялся со стула, поцеловал меня в руку два раза, а потом быстро опустился на колени и поклонился мне в ноги, прикоснувшись белой головою к полу. Потом он поднялся с колен, сел на стул и продолжал смотреть на меня пристально и ласково.

Я не знал, что мне делать. Может быть, и мне следовало бы поцеловать его руку и поклониться в ноги. Я не знал и стоял как закаменевший.

Белый гость как будто промычал что-то, очевидно, привлекая моё внимание, а когда я взглянул на его лицо, я тут только заметил, какие ясные голубые глаза, широко раскрытые, ласковые глаза смотрели на меня... Я долго не мог забыть выражения этих глаз, и потом за всю жизнь никогда и никто уже больше не глядел на меня с такой лаской.

Яшенька снова остановил моё внимание. Он вынул из-за пазухи своего хитона доньшко от хрустального стакана. Об этой «стекляшке» я слышал раньше. Все в городе называли «стекляшку» Яшеньки эмблемой счастья, в противоположность «подошевке», т. е. куска кожи, вырезанной в виде следа человеческой ступни.

Появление Яшеньки в доме по обыкновению внушало панику: никто не мог догадаться по его приходу, что он вещает – горе или счастье. Если Яшенька, усевшись в переднем

углу, где его обыкновенно усаживали, вынимал из-за пазухи «стекляшку», это обозначало предзнаменование счастья и вообще благополучие «дому сему», если же белый гость переступал порог дома с «подошечкой» в руках, это наводило на всех живущих уныние и страх...

Подозвав меня к себе, Яшенька промычал что-то и жестом руки дал мне понять, чтобы я посмотрел на свет солнца через гранёное доньшко от стакана. Я исполнил его просьбу с дрожью в руках и ногах и увидел чрез прозрачное гладкое стекло оконную раму, цветы на подоконнике и далее за окном глубокие, озарённые светом солнца, сугробы.

Белый гость приложился губами к «стекляшке», как будто лизнул её, потом ударил себя в грудь, указал рукою на небо и улыбнулся счастливой улыбкой.

Бабушка и тётя Анна с умилением глядели на меня, очевидно, считая меня счастливейшим человеком в мире.

Предложение Яшеньки – поглядеть через стекло, удар в грудь и целование «стёклышка» с жестом руки к небу, – всё это горожане объясняли так, как будто Яшенька о себе говорил всеми этими манипуляциями: «Вот смотрите, как чиста моя душа! Бог простил всем моим прегрешениям».

Это признание, по поверью горожан, Яшенька делал только тем, кого считал счастливыми, почему бабушка и тётка так умильно на меня и посмотрели.

А тот факт, что Яшенька только у детей целовал руку и только перед детьми падал ниц – горожане также старались

изъяснить по-своему.

Разъяснения эти циркулировали в двух вариантах:

Одни говорили: «Моя душа чиста, и я равняюсь с невинными отроками».

Другие говорили: «Я был горд перед Господом и перед людьми. Теперь я смиряюсь перед детьми как перед их голубиной кротостью и смирением овна».

Кто был прав – я не знаю. Может быть, сам Яшенька давал своему поведению другое толкование. Но кто же мог разгадать эту тайну: он был молчальник.

## Х

Впечатления первой встречи с Яшенькой-молчальником запали в мою душу глубоко, как будто я впервые повстречался с какой-то тайной, которую мне всю жизнь придётся разгадывать. Внушал он мне и страх, и любопытство, и какое-то особенное нежное чувство. Но я никогда бы не мог пожалеть его: он казался мне выше или вне жалости, так обидной для человека. Мне часто даже приходила в голову и такая мысль: все остальные люди достойны сожаления, а Яшенька в этом не нуждается.

У нас в доме, где одно время так много бывало гостей, в уютных и богатых квартирах наших знакомых да и вообще во всём городе жизнь текла мирно, без особенных внешних событий. Тянулась жизнь медленно и точно переваливалась. Ещё у нас, в доме на костях, быть может, было и немного разнообразнее: бабушка ссорилась с дедом, отец мой был в постоянной вражде с мамой, мы с братом тоже часто ссорились. Но всё же и при этом разнообразии каждый день нашей жизни походил на день минувший.

А жизнь Яшеньки-молчальника была такая оригинальная! Тот факт, что он молчит, делал его непохожим на других. Он молчит и, казалось мне, говорит людям больше, нежели они, говорящие много и бестолково.

Легенды о его жизни в своей бывшей усадьбе, где теперь

владычествовала пышная красавица, гордая его родственница, – эти легенды сопровождали его всюду, варьируясь на разные лады, но в общем выражавшие одно и то же: белый гость жизни, молчальник, не похож на других. Встал он с земли белым призраком и бродит словно чья-то беспокойная неразгаданная дума или потревоженная совесть.

В белом хитоне, какие носили в древности только апостолы, босой, с непокрытой головою, с пышными развевающимися и густыми волосами и с широкой белой бородой, – он походил на Саваофа, каким изображают Бога в голубых куполах храмов. Он ничего не имел, кроме хитона, «стекляшки» и «подошвки» и этим как бы говорил людям о суетности их стяжаний.

Он нередко представлялся мне похожим на Лермонтовского «Пророка», и я декламировал:

«Смотрите: вот пример для вас!  
Он горд был, не ужился с нами;  
Глупец – хотел уверить нас,  
Что Бог гласит его устами.  
Смотрите ж, дети, на него,  
Как он угрюм, и худ, и бледен.  
Смотрите, как он наг и беден,  
Как презирают все его».

Образ Лермонтовского «Пророка» я дорисовал своими штрихами и говорил себе: «Да, тогда Яшенька был такой,

„он был угрюм, и худ, и бледен“, потому что люди не признали его, а теперь он признан всеми, и только дед мой, учёный профессор, отвергает пророчества Яшеньки-молчальника».

В домах горожан и на улицах он появлялся часто, но больше всё же жил в Ростковке в шести-семи верстах от города. И никакая погода, ни день, ни ночь – не могли изменить его решения: приходил, когда ему хотелось, уходил, увлекаемый только своим желанием. Иногда являлся к кому-нибудь в дом поздно ночью или ближе к утру, и надо было его впускать. Иногда вставал среди ночи и уходил. Жил как вольная птица, питался скромно, нося на теле своём белый хитон как птица, оперённая в белое...

Порочные люди его боялись, потому что он по-своему говорил им правду. Духовные не любили его, и никто и никогда не видел его в церкви.

В начале появления Яшеньки это нерадение к церкви сильно смущало горожан, да и священники местных храмов и высшее губернское духовенство, которому сообщили о Яшеньке, косо смотрели на странного старика. Одно время его считали даже приверженцем какой-то раскольничьей секты, и священники называли эту секту вредной Христовой церкви. Подозрение духовных особ вызвало следствие, и от архиерея приезжала целая комиссия. Но следователи убедились в ложности слухов и злых доносов: Яшенька-молчальник никого не совращал в свою секту, ни словом, ни делом не противодействовал официальной церкви. Жил

как вольная птица и говорил с людьми на непонятном языке символов. По ночам же он молился как и все православные, налагал на себя продолжительные посты: ничего не ел, не пил и целыми часами выстаивал на молитве.

Нередко Яшенька выступал и в роли изобличителя местных нравов. Негодуя на «прорухи» уездного начальства и жестами проклинания предупреждал жестокости полиции. Смеялся над жадностью и хищничеством местных купцов, преследовал праздных и развратных и пьяных людей. И, изобличая пороки, выражал своё негодование только одним своим упорным и жутким молчанием. Но это молчание имело силу большую силы слов. Бывало, только с лица изменится: брови нахмурит, в углах губ лягут сурово-скорбные складки, а глаза потемнеют и словно потухнут.

И люди боялись Яшеньки-молчальника и, вместе с тем, любили его и почитали.

Он посещал больных, заходил в тюрьму. Придёт, сядет у постели недужного человека и молча смотрит своими большими ясными глазами и словно взором своим старается изгнать из страждущего тела хворь.

Входя в камеру арестантов, останавливался у порога, склонялся на колени и потом в ноги кланялся всем сидящим в камере. Молча вставал, ласково смотрел на арестантов, потом вынимал свою «стекляшку», целовал и лизал её и уходил молча, снова низко-низко поклонившись молчаливым и мрачным обитателям камеры.



Часто заходил он и в хатки бедняков, особенно в тех случаях, когда над бедным человеком и без того обездоленным, разражалась какая-нибудь новая беда. Но в хаты бедняков Яшенька не приносил ни золота, ни серебра, потому что и сам никогда не имел за душою «ни алтына».

К бедняку он приносил с собою любящий и нежный взор ясных глаз и этим взглядом радовал тех, кому скудно судьба отпускала радости жизни.

Вот отдельные, особенно яркие эпизоды из жизни Яшеньки-молчальника.

В глухом и бедном селе Воздвиженском жил священник о. Артемий Орлов. Был он человек бедный и многосемейный и вдовый. На руках у него было семь человек детей, да двое сыновей обучалось в семинарии. Приход у о. Артемия был бедный, и сколько он не просил архиерея о переводе в другой приход, где бы он мог «свести концы с концами», но ничего из этих ходатайств не вышло: продолжал жить в бедном приходе и бедствовать с семьёй.

А потом и оказалось, что бедность вовлекла о. Артемия в преступление. Приехал ревизор осматривать церковные книги да поверять кассу и наткнулся на растрату и подлог.

Засадили о. Артемия на скамью подсудимых в окружной суд и стали судить. Но пришёл Яшенька в суд и до некоторой степени облегчил участь осуждённого. Никогда в суд Яшенька не заходил, а тут пришёл, сел на переднюю скамью, вынул из-за пазухи свою «стекляшку», промычал, ударил се-

бя рукою в грудь, поцеловал «стекляшку» и указал пальцем на бледного священника, сидящего на скамье подсудимых.

Переглянулись с неудовольствием судьи, а присяжные точно обомлели, а о. Артемий ещё больше побледнел да и закрыл лицо руками.

Сидели тут же в суде дети о. Артемия, два семинариста да два с ними мальчонка лет по десяти-двенадцати. Начал свою речь прокурор, а Яшенька встал, подошёл к детям о. Артемия да по очереди у каждого из них и начал целовать руки, да и – бух им в ноги. Смутился прокурор, помолчал минуту, а председатель суда перерыв объявил. Поднялся Яшенька с пола, молча поклонился о. Артемию и молча же вышел из суда.

Присяжные дали о. Артемию «снисхождение», и вместо ссылки его увезли в монастырь на покаяние.

Был ещё и такой случай.

Мужики деревни Хохловки жили бедно, а тут ещё и конокрады разоряли их каждый год. В наших местах больше башкирьё конокрадством-то занимается. Любят эти люди хороших лошадей и порой не могут удержаться, чтобы не скрасть хотя бы только для того, чтобы промчаться на украденной лошади разок. И вот, как-то раз изловили хохловские мужики двух башкир-конокрадов и всем миром расправились с ними самосудом. Попросту говоря, убили их, заколотили каждому убитому в зад по колу да и бросили на дороге, а руки их связали уздечкой, которая была на украденной лоша-

ди. В этом была своя примета: свяжут убитому конокраду руки уздечкой и тем как бы положат конец проделки всех конокрадов.

На скамью подсудимых посадили шестьдесят пять хохловских мужиков. Все степенные домохозяева били башкир и не отпирались, и потащили их всех на суд.

Я особенно хорошо помню эту историю из рассказов судей и прокурора.

Приезжая на судебную сессию в наш город, члены суда, и прокурор, и секретари, обыкновенно, останавливались в парадных комнатах нашего дома на костях. Дом наш в городе считался лучшим, помимо того, дед мой имел какую-то особенную привязанность к судейским, кое-кого из них знал и раньше, ещё в молодости.

Самосуд хохловских мужиков над конокрадами взволновал весь уезд, а когда приехал суд, волнение ещё больше усилилось. Никто не мог представить себе возможности осуждения шестидесяти пяти человек за убийство двух конокрадов, которые, как выяснилось на суде, были вожаками целой воровской шайки, разоряющей почти всю губернию...

Волновались и судьи, и присяжные. Как сейчас помню такую сцену.

Мой дед сидит в зале на диване, рядом с двумя судьями, а прокурор, высокий человек, с лысой головой и длинными чёрными усами, ходит по залу из угла в угол и волнуется.

– Ужели же хохловских мужиков засудите, господа? –

спросил дед и повёл «невишными» глазами из стороны в сторону.

– Да, конечно, – сухо ответил прокурор, а потом добавил. – Вот в том-то и горе! В глубине моей души я не могу их осудить, а... а по закону... я буду требовать высшую меру наказания... Но кого я буду обвинять? Голодных, озлобленных нуждою людей. Ведь, в этой самой Хохловке, состоящей из 250 душ мужского пола, не оказалось ни одного грамотного... Поймите вы!.. Ни одного грамотного!.. Кого я буду обвинять?.. Всю нашу тёмную Россию... Это ужасно!..

Жуткое молчание было ответом на вопрос и восклицание прокурора. А я, помнится, все дни, пока разбиралось дело хохловских мужиков, бродил с беспокойной думой и в душе прощал всех убийц, не питая злобы и к тем, кого они убили...

Две души жили во мне тогда. Две души остались во мне и по сей день.

Простил убийцам и Яшенька.

В день суда, когда из шестидесяти пяти человек было осуждено сорок восемь, Яшенька неожиданно появился у нашего дома. Это было часов в пять тихого августовского дня. Прокурор и судьи сидели в столовой и обедали. С ними за столом сидел и дед. Говорили теперь уже не о хохловских мужиках: с ними было покончено дело. Говорили о чём-то незначительном. И вдруг громадное стекло одного из окон в столовой треснуло, и на подоконник и на пол посыпались

звонящие осколки стекла, а большой, брошенный в окно камень, влетев в столовую, ударился о паркет, отскочил от пола и разбил нижнюю часть шифоньерки, стоявшей у буфета.

Когда всполошённые судейские чины бросились к разбитому окну, у окна на тротуаре стоял Яшенька, дико мычал, размахивал своей «подошечкой» и с горящими глазами угрожал судейским карами неба, поднимая руку кверху и дико вращая теперь страшными и потемневшими глазами.

В последний раз я видел Яшеньку-молчальника осенью в ненастное и холодное утро, когда на городском кладбище, а вернее – у ограды кладбища, хоронили одного самоубийцу.

В местном съезде мировых судей служил мелкий человек по фамилии Плахов. Человек он был уже немолодой и прослуживший в съезде лет десять. Женился он поздно, но потом быстро обзавёлся семьёй: у него было три сына и две дочери. Назначили председателем съезда нового человека и перевернули, переделали всю жизнь маленького незначительного человека Плахова. Его заменили новым служащим и ничего не дали, увольняя в отставку многосемейного человека.

Пришёл Плахов домой, подсыпал в суп мышьяку и с какой-то особой лаской в голосе угощал супом детей своих и жену. А когда семейные пообедали, он взял да и перерезал себе горло бритвою. Детей и жену отходили, а его не спасли.

Я помню то ненастное утро, когда хоронили Плахова.

Тёмные тучи бродили по небу и казались мне изгнанника-

ми, которых куда-то гонит какая-то неведомая сила. В воздухе со свистом носились крупные, мокрые и липкие снежинки как лохмы ваты.

По Большой улице города везли дроги, а на дрогах стоял простой чёрный гроб с останками самоубийцы Плахова. Хоронили его без пения и церковного ладана. И шла за гробом Плахова осиротевшая семья его, которую он хотел взять с собою. Вероятно, он и умер с этой мыслью: «Ушёл сам добровольно из проклятой жизни и всех своих близких взял с собою»... Обманутый судьбою, жалкий человек!..

И вот откуда-то из узкого и глухого переулка точно из недр снежной бури выросла белая фигура Яшеньки-молчальника. Как всегда, он был бос, с непокрытой головою и в своём снежном белом хитоне. Подошёл он к дрогам, положил руку на гроб да так и шёл до самого кладбищенского поля. Увидели люди Яшеньку, идущего за гробом, и ну бросать всякие дела свои да присоединяться к печальной процессии. Скоро за гробом шла громадная толпа горожан.

Могила для Плахова была приготовлена около кладбищенской ограды, шагах в ста, в поле, где ходят по зимам белые волны снега, ходят и поют свои заунывные песни о чьей-то сиротской долюшке.

Самоубийцам не отводили мест на кладбище, изгоняли их в то время в открытое поле. И с Плаховым сделали то же.

У самых ворот кладбища Яшенька неожиданно для всех взял лошадь под уздцы, повернул лошадь и повёл её в клад-

бищенские ворота и приказал людям поставить гроб около самой церковной стены.

Прибежал оторопевший кладбищенский батюшка о. Сергей, седой старик, и не знает, что делать. А Яшенька заставил кладбищенских сторожей рыть могилу у церковной стены, под ветвями дуба, где уже схоронены были именитые граждане и лица из кладбищенского причта. Роют могилу сторожа, а о. Сергей не знает, что делать, и стоит ни живой, ни мёртвый. Народ смотрит на распоряжения Яшеньки и тоже молчит в страхе и смущении.

А когда могила была вырыта, Яшенька вынул из-за пазухи свою «стекляшку», ударил рукою в грудь, поцеловал «стекляшку», а потом сделал земной поклон в сторону гроба Плахова и быстро удалился, и скоро исчез в вихрях снежной бури.

Больше я никогда не видел Яшеньку-молчальника... Скоро он и из города исчез, и никто не знал, куда он ушёл.

Время не в состоянии изгладить из моей памяти образ Яшеньки-молчальника, этого белого гостя земли, этой «пены жизни», как называла его бабушка.

Рождённым снегами наших степей и глухих дорог, белый гость земли белым призраком прошёл мимо меня в жизни. Прошёл... И снежная буря похоронила его, неведомого, таинственного молчальника.

А он и посейчас как живой стоит передо мною в своём белом хитоне, с ясными голубыми глазами...

# XI

От белого гостя земли опять перехожу к тёмным героям моей повести...

Зачем дедушка мой изменил науке и женился на дочери купца Дулина, необразованной и неразвитой девушке?..

Сам же он когда-то сказал, когда я, не окончив курса в университете, приехал в наш дом на костях:

– В молодости и я изменил науке и поплатился за это... Тебя, Лёня, тоже ожидает это. Женишься ты на какой-нибудь тетёхе вроде своей бабушки и... того... Я ослеп физически, а ты от этой женитьбы ослепнешь морально, духовно, так сказать...

Это случилось с дедушкой, когда он был молод, но жизнь уже отметила его своим перстом умирения. Я ещё не женился на тетёхе и не женюсь, но и на мне печать умирения, печать нашего дома на костях.

С этого и началось. Человеком, вычеркнутым из жизни, поселился мой дед в старом доме на костях и ничего не внёс в него с собою, напротив, дом на костях наложил на него свою печать, – печать печали мук и страданий...

Какая трагическая биография у моего деда... Именно биография. Он – бывший профессор, а о профессорах составляют биографии.

Помнится, мне было лет пять-шесть, когда я впервые уви-



дел дедушку...

Сидел он у себя в кабинете в большом «вольтеровском» кресле. Тёмно-малиновый бархатный халат его с кистями длинного шнура был нараспашку. Чистое бельё виднелось из-под халата, а ноги в мягких войлочных туфлях покоились на коврике.

Сидел он, подперев голову рукою и склонив лицо, и как будто о чём-то думал или грустил. Большие «куляры» с сетками прикрывали его «невишные» глаза, а со лба свешивался «козырёк» из зелёной полупрозрачной материи. Этот зелёный козырёк представлялся мне похожим на зелёный абажур лампы, которая стояла на столе сзади деда и тускло светила.

Помню, тогда мне пришла в голову странная мысль. Вдруг почему-то я сравнил деда с этой лампочкой. И лампочка, и он – под зелёными абажурами и светят тускло. Сделав такое сравнение, я имел ввиду жизнь деда, так как и тогда уже знал, что дед мой – человек учёный, а учёные люди, по убеждению моих детских лет, должны жить в Петербурге или Москве, где все люди чему-то учатся. Дед был ещё молод, но уже не жил жизнью учёного, и во всяком случае жил так, что эту жизнь можно было сравнить с тускло горящей лампочкой.

Правая щека, часть лба, тёмные с проседью волосы были озарены светом лампочки, а остальная часть лица тонула в густой тени. И он казался мне похожим на полчеловека.

И я боялся этого полчеловека, и чем-то грустным, зовущим мою душу веяло на меня от этого полчеловека.

Мама подвела меня к «вольтеровскому» креслу, наклонилась и прошептала:

– Лёничка, это твой дедушка...

– Иди ко мне, мой милый... Иди, внучоночек!.. – тихим голосом, но нежно тянул дедушка.

Но я боялся его и упирался, и держался за платье мамы, а она с папой подталкивали меня сзади.

– Иди же, иди!..

– Нехорошо... Иди, Лёничка, – говорила и тётя Анна Марковна.

А бабушка Маремияна, тогда ещё не так седа и дряхла, стояла сзади дедушкина кресла и что-то поправляла у него на затылке. И разглядел я, что она завязывала узлом шнурок от той «штуки», которую все называли «kozyрьком», и которую я с этого момента называл дедушкиным абажуром.

Дедушка вытянул ко мне руки и голову склонил вперёд и лицо повернул ко мне. И негромко говорил:

– Иди же, мой милый внучоночек!..

И обнял он меня своими руками и близко притянул к себе. От него пахло лекарствами, и дышал он тяжело.

Я смотрел на его большие и страшные «куляры», и вся голова и лицо деда представлялись мне похожими на голову страшной и большой жабы. Он губами искал моё лицо, а я боялся этих губ в рамке тёмных усов и бороды. Вот он ощу-

пал голову мою рукою, притянул меня к себе и поцеловал меня в лоб. И были влажны и теплы его губы.

Когда потом меня увели спать в мезонин, где жила тётя Анна, и где мы с мамой временно поселились, я долго не мог заснуть и всё видел пред собою полчеловека с большими лягушечьими глазами, – полчеловека, похожего на тускло горящую лампочку под зелёным абажуром.

А потом я скоро привык к дедушке и полюбил его. И как я всегда жалел, что он не видит меня своими глазами за сетчатыми «кулярами», и как мне хотелось посмотреть, какие у дедушки глаза. Их все называют «невишными», и это слово долго занимало мою душу и мой ум.

Много дней спустя после того, как мы поселились в доме деда, тётя Анна читала мне какие-то наставления и говорила мне:

– Надо, Лёничка, любить слепеньких людей... Богом они отмечены!.. И хроменьких надо любить и горбатеньких...

Потом для чего-то рассказала мне о том, что в библейские времена жил на земле один старенький плешивенький пророк, по имени Елисей. Однажды уличные ребяташки посмеялись над ним и над его лысиной, а потом Бог наказал за это шалунов...

Я полюбил библейского Елисея, полюбил я и слепенького дедушку.

Из рассказов бабушки, тётки и мамы я узнал и о его прошлой жизни, узнал и о том, когда и при каких обстоятель-

ствах дедушка ослеп. Он был профессором химии, много занимался разными исследованиями, много читал и писал. И вот какие-то вредные газы при каком-то анализе испортили ему глаза, и он должен был расстаться с наукой.

Моя двоюродная тётка Анна Марковна пришла в его жизнь каким-то ангелом-хранителем. Как бы мог жить дед, с юных лет сжившийся с наукой, с книгами, с умными разговорами, если бы ему не дать возможность хотя бы с чужого голоса познакомиться с содержанием книг и газет. И тётя Анна спасла деда. Эта женщина, схоронившая и мужа, и детей своих, нашла себе заботу в жизни. Она была бессменной чтицей деда. Она могла бы читать ему книги и газеты и дни, и ночи, если бы дед этого пожелал. Она писала под его диктовку. Дедушка в мыслях разрабатывал какой-то теоретический вопрос своей любимой науки, составлял какой-то учебник и диктовал. Читала тётя Анна много и научные книги, и журналы, и романы, и газеты.

С детства она плохо знала французский и немецкий, а потом разучилась даже и читать, но ради деда занялась языками, снова выучилась читать, и, благодаря этому, дедушка мог знакомиться и с иностранными источниками.

Сама же, бывало, и смеётся над собой тётя Анна:

– Читаю как машина или попугай... Немного слов и понимаю-то, как надо по-русски перевести, а вот читаю... Смех – право!..

– Аня, ты прекрасно читаешь, – возражает дед. – Да тебе

можно и не знать всех слов, читай только появственней, а то и уши-то у меня что-то пошаливать стали...

## XII

Так тянулась эта жизнь «невишного» дедушки и протекала на моих глазах, как тихий, едва журчащий ручей протекает в горных теснинах. Шли года, тянулась жизнь... Мы, молодые, подрастали, расправляли крылья, а дед едва заметно светился как тусклая лампочка под зелёным абажуром... Но всё же горела эта жизнь огнём внутренним, огнём незримым...

И вот как-то раз все мы стали замечать, что с дедушкой творится что-то неладное. Вдруг почему-то стал он грустный и задумчивый. Мало говорил и чтение слушал не с прежним вниманием, а от диктовки своего учебника совсем отказался. Упал у него интерес к газетам и к политике. И часто вышлет всех нас из кабинета и скажет:

– Идите, сон меня что-то клонит...

Уйдём мы все, а тётя Анна поглядит в замочную скважину, а потом придёт в зал да и объявит:

– И спать не думает... Сидит в кресле, стучит пальцами и думает о чём-то...

– Что же, пусть сидит и думает, на то он и профессор, чтобы думать, – пошутит бабушка.

И вот скоро мы узнали, о чём думал дедушка.

По субботам ему делали ванны с морской солью. И вот в одну из суббот, сидя в ванне, дедушка прорезал вену и стал

истекать кровью. Кто-то случайно заметил, что сделал с собой дедушка. Бросились мы все в ванную комнату, извлекли его уже терявшего сознание и перенесли в кабинет.

С каким ужасом я смотрел на ванну, переполненную водою, окрашенной кровью. Много дней чай казался мне кровавым, много дней пахло кровью в ванной комнате...

А потом много лет дедушка упрекал тётку Анну, бабушку и папу и говорил:

– Зачем вы это сделали?.. Ну зачем?.. Как глупо сделали... Всё равно жизнь моя кончена. Куда я годен? Для чего? Для кого?.. Только для вас лишняя обуза... Да, наконец, какое вы имели право помешать человеку, если он захотел умереть?.. Кто вам дал это право?..

– Друг мой, что ты говоришь?.. Замолчи, ради Бога... Господи!.. Господи!..

И бабушка не заканчивала своей мысли и начинала плакать.

– Ну, разрюмилась!.. Может быть, мне дни и ночи следовало бы плакать-то, а ты видела, что я плачу?.. А?.. Видела?.. Слаб, Маремьянушка, в тебе человек!..

После покушения на самоубийство характер деда изменился, так что не узнать. Раньше он был сдержанный, деликатный, даже любезный. Личность человека ставил даже выше своей любимой науки, а теперь нервничал и не всегда сдерживал раздражение. И смеялся он над всеми и спрашивал:

– Ну, скажите вы мне, физико-химические субстанции, на кой дьявол вы живёте?.. Да и кто вы такие?.. Знаете ли вы, из чего состоят ваши кости, тело, волосы?.. Как устроено ваше сердце? И что такое есть в вас то, что вы называете душой?.. Ха-ха-ха!..

И стал он смеяться над всеми страшным смехом.

Жутким голосом какой-то неведомой мне лесной птицы слышится до сих пор этот смех деда: смех самого леса, насыщенного тайнами угрозы и презрения.

Мучеником самого себя представлялся мне дед, и хотелось мне испытать, пережить его муки. И чем дольше он жил, тем больше я его любил.

Странное что-то случилось со всеми нами. Все мы быстро привыкли к нашему новому дедушке. И нервность его перестала нам мешать жить, перестал пугать нас и его страшный хохот лесных тайн. Все мы, точно сговорившись, прощали ему его насмешки. И мы должны были это делать. Ведь, он же хотел умереть и уйти от нас. Но раз мы помешали ему это сделать, мы и должны были терпеть его таким, каким он остался жить.

Я помню, первая эту мысль высказала тётка Анна.

– Потерпите, друзья мои, потерпите, – сказала она. – Оставили мы его жить, так уж и примем таким, какой он есть...

И слова тётки Анны стали для нас законом.

Тётю Анну все мы называли святой женщиной. Чего только она не вынесла, ухаживая за дедушкой как за малым ре-



бёнком. Несколько лет он не диктовал своего сочинения, и чтение для него теперь уже не было потребностью. И часто мне казалось, что это только сон, что бабушка живёт вместе с нами в нашем старом, проклятом доме на костях. Он умер тогда в ванне, истёк кровью. И страшной казалась мне действительность. Сажу в столовой за общим обедом, и мёртвый дед со мной за столом. Зубрю латынь в своей комнатке, а через зал и гостиную, в комнате с окнами в сад, живёт мой мёртвый дед. Ложусь в постель, прячу голову под одеяло, закрываю глаза – и вижу сквозь стены: сидит он в «вольтеровском» кресле, мой мёртвый слепой дед... Днём слышу его шаги и голос, вижу его, когда он идёт, опираясь на руку тётки Ани, и вижу его мёртвым. И слышу его хохот таинственной могилы, могилы, утонувшей в страшном молчании.

А тётка Аня, милая тётка Аня, отдаёт всю свою жизнь этому человеку-мертвецу, и он не кажется ей мёртвым.

Дед сам же первый оценил самоотверженность тётки Ани.

Бывало, кто-нибудь из домашних пожалуется на тяготы жизни или на личные неприятности, а бабушка презрительно засмеётся и скажет:

– Берите пример с Ани. Она отказалась от личной жизни, упростила свою жизнь ради меня, и посмотрите, жалуется ли она когда-нибудь... Великая это радость, когда человек способен отдать себя на служение ближнему... Стыдно мне, конечно, говорить это: мне она служит, мне одному, и не стою я этого, потому – никому не нужен. Но ещё больше цените её,

если она нашла в себе силы служить и ненужному человеку, если и в нём для неё осталась хоть тень личности... Конечно, лучше бы она сделала, если бы отдала свою жизнь на служение всего человечества, но ещё вопрос: лучше ли это?.. Человечество для нас – нечто дальнее, а Иван, Пётр, Анна... это все нити с концами, погружёнными в нашу душу...

И все мы прониклись к тётке Ане уважением и любовью.

Не одобрял её поведения только один человек в доме. Это её племянник, Николай Верстов. В те времена он был гимназистом восьмого класса, жил в мезонине вместе с тёткой и готовился к университету.

Я сам слышал, как Николай Верстов говорил:

– Я удивляюсь тебе, тётя... твоему самоотвержению я удивляюсь! Твоей фантазии служить мёртвому человеку не понимаю... Твои функции могла бы выполнить любая сиделка, нанятая за деньги...

– Ты с ума сошёл! – возражала тётя Аня. – Хоть говори-то тише. Вдруг услышит он...

– А ты его боишься?.. Раба!..

И он презрительно усмехался и уходил зубрить уроки.

Станный человек этот Верстов. Нам он родной, близкий, а живёт в доме у нас чуждым нам всем как квартирант, который ничего не платит, и выселить его нет возможности.

Дед знал об отношении Верстова к нему и к нам всем и не любил его, но всегда говорил:

– Подождите, войдёт и он в жизнь... Молод ещё, и задора

много. Это хорошо, что он не укладывается в наши рамки, верно, свои особенные рамки для себя хочет смастерить.

Коля Верстов, действительно, был какой-то не укладывавшийся в рамки нашей жизни. Одиноким, угрюмым, чёрствым казался он. Он никого не любил, кроме себя и своей комнаты и своих книг. А он любил книги и учился блестяще, и говорил, забывая в спорах даже самого учёного деда.

И когда Верстов определился в университет и уехал в Петербург, все мы с радостью передохнули. А когда весной до нас дошли слухи, что Коля попался в какой-то политической истории, и его посадили в крепость, дед заволновался и всё твердил:

– Как же это так?.. Как же я его просмотрел?.. А?.. Вон он был с какими задатками! Вон он какие рамки жизни соорудил для себя!.. Молодец Коля!.. Молодец!.. Простит ли он мне мои насмешки?..

И сидел дед грустный...

## XIII

Когда после смерти покойной бабушки Маремьяны вскрыли её заветный ларец, в нём в числе других бумаг нашли и духовное завещание. В личном владении бабушки были: дом на костях, а в этом доме движимое имущество. Она, как и другие это делают, оставила завещание. И мне завещала «небольшой кованный железом сундучок под кроватью», как значилось в завещании. Когда вскрыли этот сундучок, в нём оказалось не много имущества: старинная Библия на славянском языке, Четы-миней и ещё две-три духовных книги, а на самом дне сундучка оказался и саван. Это – странного и страшного вида плащ, широкий, с рукавами, с изображением креста и Адамовой головы на груди. Сшит он был из белой, редкой материи и казался мне чёрным и страшным. Таково уж свойство неразгаданной могильной жизни, если эта жизнь врывается в нашу надземную жизнь, озарённую солнцем и обласканную лунным светом и тихим мерцанием далёких и прекрасных полуночных звёзд.

Все, кто был при вскрытии сундука, завещанного мне бабушкой, как-то даже странно примолкли, когда увидели саван. А дед взял в руки страшный плащ, ощупал его, рассмеялся и сказал:

– Вот, брат, тебе что бабушка-то оставила.

И я ясно расслышал в этой фразе насмешку: «Вот, – мол, – получай духовную дребедень, – как дед всегда отзывался о священных книгах, – и саван, подарок могил».

Меня даже жуть взяла, когда я увидел в руках деда страшный саван. Но я скоро нашёлся и сказал:

– Дедушка, очевидно, бабушка завещала мне только духовные книги. Саван одели бы на неё, если бы она умерла у нас в доме.

– Совершенно верно! – согласился дед. – Но вышло так оригинально, что я и ума не приложу... Нет, ты только подумай: есть ли на свете ещё человек, кроме тебя, которому достался бы саван? По завещанию... Пойми ты!.. По завещанию!.. А?.. В этом есть что-то таинственно-мистическое, сказал бы какой-нибудь олух, верующий в сверхъестественное...

– Да, это так, – соглашался я, – но что же теперь буду я с ним делать?

– Ха-ха-ха!.. Да, это задача!.. В самом деле, что ты с ним будешь делать?..

И вот, прошло уже более двадцати лет, а бабушкин саван всё ещё лежит у меня в чемодане, где я храню не особенно нужные вещи. И я не знаю, что мне сделать с этим саваном? Куда же мне его девать?

Помнится, лет десять назад, когда у нас в доме умерла кухарка Авдотья, и когда её похолодевший труп положили в переднем углу кухни, дед призвал меня в кабинет и сказал:

– Знаешь что... одень-ка ты этот бабушкин саван на Авдотью... право, а то что он у тебя будет лежать да тлеть зря...

Кривая усмешка бродила по губам деда, но это меня не смутило. Слова его осенили меня как слова откровения, и в первую минуту я согласился с дедом и хотел пойти и передать родственникам кухарки подарок бабушки. Но я не решился этого сделать.

– Неловко, дедушка, как же это так?.. Бабушка готовила его для себя, а я вдруг подарю его кухарке... отдам его Авдотье, – поправился я.

И в ту же секунду я понял, что слова эти «подарю», «отдам» я сказал, не подумав: как же это в самом деле можно что-нибудь отдать или подарить мертвецу?

Большими «невишными» глазами посмотрел на меня дед и с негодованием сказал:

– Ну, иди!.. В тебе ещё чёртова бездна сословных предрассудков... Как же это можно подарить мужичке саван, изготовленный для дворянки, для супруги профессора?.. Эх, ты...

И дед не на шутку разобиделся. Но напрасны были его обиды: родственники Авдотьи сшили ей свой саван, и в бабушкином саване не оказалось нужды.

## XIV

Авдотья – до некоторой степени трагическая женщина. Умерла она молодой, цветущей. Ей было всего лишь двадцать пять лет, когда её схоронили. И кто бы мог подумать, что у неё есть своё большое горе?

В нашем старом доме появилась она, когда мне было лет пятнадцать. Мужа её угнали на войну с турками, и ей пришлось уехать из деревни. И все мы удивлялись, почему Авдотья, сильная и бодрая, покинула деревню? В семье у них достатков хоть отбавляй, хозяйство велось исправно – каждые рабочие руки дороги, а она приехала в город и нанялась к нам в кухарки.

– Этот проклятый город все лучшие деревенские соки выжимает! – сердился дед, когда Авдотья нанималась.

Услышала эти слова Авдотья и сказала:

– Нешто я уехала бы из деревни?.. Ни в жисть!.. Свекровь-ведьма поедом съела...

И Авдотья рассказала, как свекровь-ведьма её поедом ела.

Авдотья любила мужа своего Трофима, и, когда его угнали на войну, она затосковала.

– Свету Божьего не взвидела, – говорила она. – Проводила Трофима, сама плачу дни и ночи. Точно схоронила его, а не на машину проводила... Хватаюсь за дело, думаю, мысли разгоню, а Трофим не выходит из головы. А свекровь

бранится: «Почему плохо сено граблю? Отчего хлеб в печи пригорел? Почему телят забыла молоком напоить?..» И сама знаю я: и сено плохо граблю, и хлебы не досмотрела, и телят не напоила... А что с собой, с окаянной, сделаешь? Не выходит из головы Трофим. Дело делаешь – из рук всё валится, а ночью уйду в куток и плачу, лежу с открытыми глазами до зари и плачу. А поутру свекровь опять поедом ест... Со света сживала, вот и пошла в город...

Первое время Авдотья понравилась и маме, и тётке Ане, и всем нам. Ловкая она была и расторопная, кушанье научилась готовить быстро, и в кухне у неё были чистота и опрятность. Грамотная она была и, бывало, вечером сидит и читает толстую книгу «Подарок молодым хозяйкам» и усваивает всё, что надо, чтобы кушанья господские готовить.

А дума о Трофиме не оставляла её, и мама говорила:

– Золото эта Авдотья: понятливая и работать мастерица, а ничего с ней не поделать: стоит у плиты, а сама Бог знает о чём думает...

– О чём?.. О Трофиме, разве вы не знаете, Клавдия Ивановна? – скажет дед и добавит. – Любовь – всеобъемлющее начало, и это хорошо, что она так умеет любить...

– Позвольте, папаша, а мне разве от этого лучше? – возражает мама. – Вчера пудинг засушила, нынче воскресенье, а у неё воздушный пирог не удался...

– Ну, Клавденька, надо же понять и человека, – вставит своё замечание и тётя Аня, которой так понятна сила все-



объемлющей любви.

– Милая Клавдия Ивановна, но не умрём мы с вами, если в воскресенье останемся без сладкого? – продолжает прежним тоном дедушка.

Отец, ненавидящий Авдотью, всё время молчал, сидел над газетой, насупившись и барабанил пальцами по столу. Это был признак неудовольствия, скрытого, но тоже всеобъемлющего.

– Позволь, отец, – наконец сердито сказал он, – но почему мы из-за кухаркиной любви должны оставаться без сладкого?

– Чу-у-дак ты, Евгений.

– Почему – чудака?

– Да ведь человек она, Авдотья-то?..

– И я человек...

– Тем более... вы с нею и должны понять друг друга. У неё любимый муж на войне... Может быть, он уже убит?..

– Ну, так что же, чёрт возьми! – вдруг стукнул папа рукою по столу да так, что посуда зазвенела. – У Авдотьи муж на войне убит, а мы должны остаться на воскресенье без сладкого. Где тут логика?..

Дедушка только рассмеялся, махнул рукою и сказал:

– Афоризм твой замечательный. Это ты хорошо сказал, у кухарки муж на войне убит, почему же мы должны остаться на воскресенье без сладкого?.. Это замечательно.

– По-моему, тоже надо понять человека и простить ему, –

вставила и всё время молчавшая тётя Аня.

Больше года Авдотья не получала вестей о Трофиме и всё больше и больше сердила своим поведением и маму, и отца. Поговаривали даже и о том, чтобы заменить её другой прислугой.

И вот что-то необычайное случилось с нашей кухаркой. Вдруг почему-то она точно переродилась: повеселела, стала внимательной у плиты, и сладкое исправно подавалось нам на стол ежедневно. Ходила раньше Авдотья в скромных тёмных платьях как вдовица, а теперь завела себе городского покроя кофточки, купила жакет с большими круглыми пуговицами и ботинки стала носить на больших каблуках, и стройной стала её талия, затянутая в корсет.

– Слава Богу, выбила из головы дурь-то!.. Утешилась!.. – с улыбкой и довольная изменением в характере кухарки говорила мама.

– Каким-то пожарным, говорят, увлеклась, – как-то таинственно заметил и папа.

Дед молчал и думал какую-то свою думу, я думал о судьбе забытого Трофима, а тётя Аня говорила:

– Так всегда бывает: с глаз долой – из сердца вон!..

И я видел, какой скорбью наполнялись глаза тёти.

Так мы все были довольны Авдотьей около полугода. Потом она опять изменилась. Работала по-прежнему хорошо и не возмущала ни маму, ни папу. Но только почему-то она перестала носить корсет и ботинки на высоких каблуках за-

менила своими старыми башмаками, и жакет с большими пуговицами спрятала в сундук.

В дни увлечения пожарным она такие красивые задушевные пела песни, деревенские песни, и в них я улавливал и таинственный шёпот сосновых боров, и звоны ручьёв, и тихие молитвенные минуты утренних зорь, и грусть пустынных степей, наших русских степей...

И вот перестала Авдотья петь эти песни, ходила сумрачной и молчаливой, и в глазах её я читал постоянную тягучую тоску и боль...

И вот Авдотья умерла, примирила всех нас с собою и унесла в могилу тайну своей печали.

Странные вещи рассказывала об этой смерти мама. Она как бы предчувствовала близкую смерть кухарки.

– Всё сны вижу скверные, – говорила она. – Будто Авдотья нарядится в моё подвенечное платье и бежит за мною по комнатам и всё старается поймать меня... Бегу я от неё, а ноги у меня отнимаются...

– Во сне всегда так бывает, – замечает отец, – бежишь или хочешь бежать, а ноги не бегут... Так и наяву иногда бывает: хочешь убежать куда-нибудь от проклятой жизни, а ноги не двигаются.

– Не перебивай, пожалуйста, дай досказать! – сердитым тоном перебивает мама.

– И какие вы, господа, отсталые люди, – с усмешкой вставляет своё замечание и дед, – всё ещё верите в сны...

Молчание. Звонко поёт в соседней комнате канарейка. Тикают часы. Отец косится на деда, мама – на отца... А я смотрю на них и думаю: «Какие вы мёртвые люди»...

По лицу деда бродит ехидная улыбка, но он молчит, чуя, что скажи ещё слово – и опять начнётся грубая ссора между мамой и папой. Дедушка любит иногда стравливать их и, стравивши, сидит тихо и улыбается.

– Как бы она, Авдотья-то, не умерла, – тихим голосом говорит тётя Аня, всегда молчаливая и грустная.

– Может быть, и все мы скоро умрём? Что же об этом говорить! – почему-то сердится папа.

– Тебе бы давно пора подохнуть... развратник!.. – злобно выкрикивает мама.

– А тебе?.. Тебе надо остаться жить?.. Да?.. – вскочив со стула, забормотал весь раскрасневшийся отец. – Тебе надо жить, чтобы выйти замуж на этого... любовника-то твоего... актёрика-то.

– Замолчи ты, проклятый!..

Мама встала, бросила на стол чайные ложки, которые перед тем перетирала полотенцем, вышла в угловую комнату и бросилась на кушетку.

Опять с ней случилась истерика. Я подбежал к графину с водой, а тётя Аня бросилась к маме. Отец стоит у окна и тяжело дышит, а дед сидит покойный, молчаливый, и тихая улыбка застыла на его губах.

Молчание. Тикают часы. В угловой комнате свистит и за-

ливается разными трелями канарейка. И странно звучит её радостное пение в доме, где так много враждуют между собою близкие.

## XV

Случилось что-то страшное в нашем доме... Был поздний час вечера. Часы только что пробили двенадцать... И выла осенняя буря в саду, и смотрела чёрная ночь в окна. А в доме у нас было тихо и тоскливо. Горела над длинным столом большая лампа под белым абажуром. Примолк на столе потухший самовар. Горничная Глаша мыла чайную посуду. Отец читал газету. Мама раскладывала пасьянс. Дед, закутанный пледом, сидел в кресле с высокой спинкой и молчал, и не бродила по его губам насмешливая улыбка.

И все мы молчали и слушали... Гудела за окнами осенняя буря, и слышался шёпот. То тётя Аня стояла в угловой комнате перед иконой и молилась... Шёпотом молилась, и мы все слышали этот шёпот, но не слышали слов молитвы... Шёпотом молилась тётя Аня, и только одну фразу улавливали мы все из её молитвы:

«Упокой, Господи, душу рабы твоей Авдотьи... Упокой, Господи, душу рабы твоей Авдотьи»...

Вдруг мама вскочила, бросила в отца колоду карт, взвизгнула и крикнула:

– Подлец!.. Подлец!.. Это ты уморил её... Это ты ей купил ботинки на высоких каблуках. Это ты... Ты!.. Любовник проклятый!.. Любовник кухаркин!..

И она забилась в истерике, разрывая бахрому на своей

кофточке. И были дики и страшны её глаза.

Тётя Аня увела маму в её комнату. Отец вышел. Дед прикрыл глаза рукою, как часто делал это, когда его беспокоил свет столовой лампы, а я сидел и не знал, что делать...

А полчаса спустя по-прежнему молилась тётя Аня в соседней угловой комнате. Она как будто не заметила случившегося в столовой. Между нею и нами стояло молчание нашего дома, то торжественное молчание, которое приходит в дом вместе с покойником. И слышались слова её молитвы:

«Упокой, Господи, душу новопреставленной рабы твоей Авдотьи»...

И выла за окнами буря, бессильная побороть молчание смерти.

И я представлял себе: лежит в кухне в переднем углу бездыханный труп Авдотьи. И стоит над ней молчание с чёрными крылами...

Этот бездыханный труп вскрыл городской доктор и нашёл в желудке Авдотьи мышьяк, которым она травила крыс.

Авдотья покончила самоубийством. Всё думала и тосковала о своём Трофиме. Была весела, когда любила пожарного... А, может быть, и не любила, и не было никакого пожарного в её жизни. А что, если правда, что сказала мама?.. А что, если правда, что отец жил с Авдотьей?.. И почему она покончила с собой, если ей было так хорошо: и Трофима она забыла, и полюбила папу?.. Один я с самим собою не мог подыскать ответов на эти вопросы...

Никто не мог и подумать, что Авдотья близка к самоубийству. Утром трагического дня встала она раньше всех как и всегда, подоила коров, внесла в столовую самовар, кофейник, только что напечённые розовые булочки, потом сходила на рынок и изготовила обед. В четыре часа все мы пообедали. Авдотья вымыла посуду, аккуратно составила её в буфет. Потом подмела кухню, подтёрла пол, горшки и кастрюли вычистила и составила на полку над плитой. Не забыла даже налить керосин во все лампы, налила воду в самовар для вечернего чая, а потом приняла мышьяк, которым морила крыс, пошла в чулан и там умерла.

Как будто она не хотела навсегда уйти от нас, а вышла только «со двора», как делала это по воскресеньям. Так странно было думать, что Авдотья сделала всё, что полагается кухарке: откормила господ, прибрала кухню, а потом ушла в чулан и отравилась...

Что же это такое? Что это за жизнь? Что это за смерть? Кто была она, эта Авдотья?..

Трудно разгадать душу человека: носит он в этой душе свою трагедию рядом с заботами о мелочах «чужой» жизни.

Как жаль, что родственники Авдотьи предупредили меня и нарядили её в свой саван. Как хорошо бы было бы похоронить её в саване, доставшемся мне от бабушки. Пусть бы мужичка покоилась в господском саване... Я никогда об этом не забыл бы, и осталась бы память об Авдотье «госпожой» моей печали.



## XVI

И отец мой, и мать – тоже трагические люди. Повенчались они без взаимной любви, а так как-то, точно пришлось им обоим вступить в невыгодную сделку.

Как будто их, слабых и опьянённых чем-то, подвели люди к самому краю бездны и сказали:

– Перекреститесь!..

И они перекрестились.

– Ещё раз и ещё!..

И они опять перекрестились.

– Призовите в молитвах Бога, – говорили им, – и дайте клятву жить в браке, никогда нерушимом...

И поклялись они и ринулись в пропасть, и остались навсегда на её дне с опустошёнными душами. Тела их, закалённые знойной страстью, остались невредимы, а души опустошились, и злоба пропитала их, как пропитывается чернозёмная мать-земля дождевой водою, когда наступит час произрастания семени.

И так жили они, мои близкие, «как кошка с собакой», как тривиально говорили о них все.

Однажды мама с пылающими щеками и с блестящими глазами бросила отцу страшные упрёки:

– Ты отравил мою жизнь... Ты!.. Думала ли я, что придётся жить в этом проклятом, глухом городишке?.. Ты загубил

мой талант!

Отец женился в Москве. В то время мама училась в какой-то школе искусств и готовилась быть артисткой. Отец обещал ей оказать в этом отношении содействие, а потом, когда окончил университет, приехал на родину и сделался доктором, он как будто и забыл об этом обещании.

– Да куда же тебе было ещё поступать на сцену... – оправдывался отец. – У тебя и талантов-то никаких нет...

– Есть! Есть!.. Все говорили, что у меня есть талант, а ты его загубил.

– Ха-ха! – коротко рассмеялся отец. – Ты талантливо родила мне сына, чего же ещё тебе надо?

Мне жутко было слышать эту циничную фразу, и в эту минуту я называл отца извергом.

– Ты изверг!.. Изверг!.. – вскрикнула мама.

И странно сочеталось это ею выкрикнутое слово с моими мыслями.

Как-то раз... Это было давно, когда мне было не более двенадцати лет, мама и папа странно разрешили вопрос о моём происхождении.

Помнится, отец был болен, три дня не выходил из дома и не принимал больных у себя. Вечером в воскресенье мама собиралась на бал к купцу Белову. Одеда она светлое платье со шлейфом, в волосы вплела нить жемчугов, и на груди её в золоте блестели дорогие камни, и на пальцах искрились кольца. Молода и прекрасна она была в бальном наряде.

А отец, сидя у туалетного столика, ворчал:

– Я думаю, тебе следовало бы побыть дома. Я нездоров, а ты на бал едешь...

– Позволь, но не настолько же ты нездоров, чтобы караулить тебя... Сам же всегда говоришь, что инфлюэнца – пустяки! – возражала мама и старалась быть спокойной.

– Инфлюэнца – пустяки, это верно! Но ты, так сказать, из приличия должна остаться.

– Ха-ха-ха!.. Из приличия? Вот это мило! Ха-ха-ха!..

И она смеялась, громко, но невесело. И кривились её губы от негодования и презрения.

Отец хмурился, сжимал руками виски и хрипел с каким-то скрипучим свистом. Казалось, там где-то в глубине груди рождался поток его негодований, клокотал и стремился выбиться наружу.

– Да, я понимаю... понимаю!.. – забормотал отец. – На балу у Белова, конечно, будет и тот офицерик с парикмахерскими усами!

– Ты опять говоришь глупости, – возразила мама. – Когда ты расстанешься с этой своей ревностью?

– Когда умрёшь ты! – вспыхнул отец и встал.

В гостиной у стола сидел дед. Я не видел его, но чувствовал, что он сидит там. Я слышал его отрывочные смешки, которые становились всё громче и громче по мере того, как разгоралась ссора между отцом и мамой.

Не успел отец отойти к двери в гостиную, как послышался

голос деда:

– Клавдия Ивановна, он будет ревновать вас и тогда, когда вы умрёте... Пра-аво!..

Ссорившиеся притихли.

– Сын мой весь в меня... В своих заблуждениях он – постоянный человек... Умрёте вы, а на небе имеются ангелы Божии, вот он вас и будет ревновать к ним... Ха-ха-ха!..

И дед смеялся, и гулко разносился его смех в больших комнатах.

– Николай! Перестань Бога гневить... Не грехи!..

Это послышался откуда-то издали голос тёти Ани.

Отец с сердцем хлопнул дверью, чтобы не слышать хохота деда и голоса тёти Ани, и опять подошёл к туалетному столику, около которого стояла мама и душила тонкий носовой платок.

Вот он подошёл к маме, дёрнул её за кружевной рукав платья и выкрикнул:

– Чей это сын?.. Чей?.. – спрашивал он, указывая на меня.

Губы его тряслись, дыхание прерывалось.

– Что ты говоришь глупости при ребёнке! – негромко сказала мама.

Я метнулся к матери, уткнулся лицом в кружева её платья и этим как бы хотел показать, что я её сын, её.

– Чей, я спрашиваю тебя? Чей?.. С кем ты его прижила?.. А?.. Он не мой! не мой!..

Смущённая мама гладила меня по голове нежными, но хо-

лодными руками. Пахло духами от этих рук, а пальцы были холодны: мама недавно умывалась. Вот она прижала меня к себе, целовала и ласкала. А отец кричал:

– Емельян Иваныч – отец Лёньки, а не я... Да... Он...

– Ты с ума сошёл! Замолчи!..

Отец толкнул маму в грудь, и она едва не упала, увлекая за собой и меня. Звякнули на туалетном столике склянки с духами и притираниями, а отражённая в зеркале свеча заколебалась, затряслось и зеркало.

Отец вышел.

– Проклятый!.. – прошипела ему вслед мама и опять начала ласкать меня нежными руками с холодными пальцами.

Вскрылась тайна моего происхождения. Ужели же и правда, что мой отец не папа мой? Мой папа – какой-то Емельян Иваныч. Я целый вечер задавался этим вопросом. Почему-то я поверил в слова папы: так убедительно говорил он о тайне моего рождения.

Поутру, перед тем, как идти в гимназию, я спросил деда:

– Дедушка, кто был Емельян Иваныч?

– Емельян Иваныч?.. Какой?..

И дедушка задумался. Брови его сдвинулись, и «невиш-ные» глаза уставились куда-то в пол.

– Что же это ты? Емельяна Иваныча забыл? Да странствующий-то актёр... Струнский... – вставила тётя Аня.

– Ах, Струнский!.. Помню, помню!.. Это, видишь ли, был такой лицедей, артист, по-нонешнему... Артист этот заехал

к нам в город... Тебя тогда ещё на свете не было... Заехал к нам в город и в дворянском собрании ставил комедии и драмы... Мама твоя играла в его труппе в качестве любительницы. Вот кто был Емельян Иваныч Струнский... Собственно, фамилия его другая какая-то. Струнским он назывался только по сцене... А почему тебе вздумалось спросить?

Я молчал. Ну, как я мог сказать дедушке, почему я хочу знать об Емельяне Иваныче? Мне казалось, что высказать деду все мои думы значит совершить какое-то худое дело против мамы. Высказать всё, что волновало меня весь вечер и ночью, значит коснуться какой-то страшной для меня тайны. Коснусь я этой тайны, и станет она предо мною во весь рост своего мучительства.

Лукаво «невишными» глазами посмотрел на меня дедушка и ничего не сказал, ни о чём не спросил.

А для меня на всю жизнь остался неразрешимым вопрос о моём происхождении. Кто же мой отец? Тот ли мужчина с бритой бородой и большим лбом, которого я называю папой, или тот неизвестный мне Емельян Иваныч Струнский?

Дедушка сказал, что он не Струнский. У Емельяна Иваныча другая фамилия. Мама, конечно, знает, как настоящая его фамилия, но как я спрошу её об этом после того, свидетелем чего я был? Может быть, и отец знает...

Какой проклятый наш старый дом. Я не знаю даже, кто мой отец? Как его фамилия? Кто он? Где? Где мой настоя-

щий отец?..

Наш старый дом на костях хранит тайну моего происхождения, хранит и молчит...

Есть и у рождения своя тайна молчания...

## XVII

Отец мой трагичен по-своему... Докторской работой своей он удовлетворялся: любил больных и не любил нас, близких: маму, меня, деда, бабушку, а тётю Аню называл «старой клячей». Любил больных, дальних и не любил близких, ближних... Нищие любил здоровых и бодрых дальних, а он любил больных... Как всё странно было в нашем доме. Больных можно жалеть, но как их можно любить?

И больные любили отца. Их так много бывало у него в приёмные часы, а сколько их там в больнице, где работал отец, а сколько их в тех домах, куда его приглашают и днём, и ночью... Как доктор, отец не жалел своих сил, лечил успешно и зарабатывал много денег. Но он не любил денег и не ради этой любви отдавал свои силы людям...

У него была другая страсть: он играл в карты и об этой страсти всегда говорил:

– Люблю я карты, чёрт возьми!.. Сидишь за зелёным столом, держишь в руках этикие четырёхугольные картонки и чувствуешь в них дьявольскую силу... Забываешь о Боге, о жизни, о смерти. Имя своё забудешь, забудешь честь... И это называется картами, силою моей души...

Отец всегда успешно играл и много приносил денег домой.

Несколько раз мне пришлось быть свидетелем следующе-



го. Сидишь поутру в столовой, пьёшь чай и наскоро пробегаешь урок. Из клуба возвращается отец, весёлый, улыбающийся и бодрый, несмотря на бессонную ночь. Поздоровается со всеми и начнёт выкладывать деньги и из бумажника, и из боковых карманов, вынет из жилетных карманов золото и рассыплет его по столу. Выложит деньги, не сосчитает и скажет:

– Клавденька, убери-ка ты это...

И это были деньги, которых не любил и не чтил мой отец. Он так привык к золоту и кредиткам, что они уже перестали иметь для него то магическое значение, во власти которого всегда была моя мама. С горящими глазами она бросалась на деньги, принесённые отцом, считала их и потом нарядно одевалась и отвозила золото и кредитки в банк. В дни больших выигрышей она была необычайно ласкова с папой, и они не ссорились.

Об этом все в доме у нас знали, и только дедушка осуждал и страсть папы к картам, и то, что мама относит «чужие» деньги в банк.

– Ведь это же замаскированное, облагороженное жульничество твоё занятие, Николай!.. Как тебе не стыдно! Как не противно!..

– Ну, батька, ты... того... зарпортовался на старости лет... На твои слова даже и сердиться-то не приходится... потому, знаешь...

И отец мой, пользуясь тем, что дед слеп, сделает около го-

ловы такое особенное движение рукою, как бы окажет: «Глуп ты от старости... Что с тебя взять»...

И громко, серьёзным тоном добавит:

– Что-нибудь страстное нужно мне, отец, чтобы забыть-ся... Не буду играть в карты, буду пить...

– Зачем же деньги в банк кладёшь? – спросит дед.

– Куда же их, проклятых, девать... А потом этим делом занимается супружница моя... Не нужны мне эти деньги, чёрт их возьми!..

– Только, пожалуйста, чтобы ни одной копейки из этих денег не давать на общее хозяйство, – строгим тоном говорил дедушка.

– И не подумаю! – насмешливо выкрикивала мама.

Я не жил в нашем старом доме, когда умерла мама.

В год её смерти я жил в Петербурге, числился студентом университета, но наукой мало занимался. Я сидел в тюрьме, когда умерла моя мать, а об её смерти я узнал месяца три спустя, когда меня выслали в Вологодскую губернию. В ссылке я получил от отца письмо и узнал о смерти матери.

Я никогда не расстаюсь с этим письмом, оно страшное, это письмо отца. Вот оно, дьявольское послание, написанное любящей рукой близкого мне человека:

«Лёня, не удивляюсь, что ты в ссылке, не удивлялся, когда ты был в тюрьме. Пошёл в стан рискующих собственной свободой и жизнью, так уж и не бойся ни железных решёток, ни глуши отдалённых губерний... Может быть, я и рад,

что всё это с тобою случилось. Когда-то, ведь, и я сиживал в тюрьме, и за то же, за что ты сослан. Я освинел, опустился, как видишь, а ты там, может быть, и страдаешь, но, если бы ты знал, как нужны человеку страдания, чтобы он не терял образа человека... Ну, да ничего, терпи!.. Всё это хорошо, береги в себе образ человеческий и не будь похож на меня с образом свиным... Или вот, как твоя почтенная матушка... Умерла она 30 сентября, чтобы ей пусто было, проклятой!.. Можешь проклинать меня за это непочтительное отношение к близкому тебе человеку, но выслушай... Выслушай, что она сделала со мною и со всеми нами. Десять лет она носила деньги в банк, и я, дурак, её не проверял ни разу... Дело, разумеется, не в деньгах, ты знаешь, как я ценю их, а дело в той лжи, которой она опутала себя... Деньги все целы, и их накопилось тысяч двадцать... И знаешь ты, что она сделала? Она вкладывала их на имя Емельяна Иваныча Полесьяна. Был у нас в городе такой актёр, под фамилией Струнского играл он. Ты теперь уже не мальчик, и я буду говорить открыто. Струнский, он же Полесьин, был любовником твоей матери. Слышишь – любовником!.. Как теперь оказалось, она всё время переписывалась с ним. У неё в комодке я нашёл после смерти целую пачку писем Полесьяна. Прочёл я некоторые эти письма, и о, ужас! Ужас!.. Он, мерзавец, всё время обирал твою мать. Есть письма, в которых он упрекал Клавдию Ивановну в том, что она ему мало выслала... Слышишь ты, Лёня, что он делал: он жил на её счёт... нет,

на мой счёт, чёрт возьми!.. Хороша была и она, если могла любить... или там чёрт её знает что... могла любить этакую гадость!.. Заклинаю тебя, найди этого Струнского и вызови его на дуэль!.. Нет, впрочем, на дуэли с негодьями не дерутся... Ты просто возьми и убей его. Если сам не сможешь, найди его адрес и сообщи мне, а я уже расправлюсь с ним. Трудно мне двинуться с места, я совсем обалдел: пью беспробудно... Нет, ты подумай только, что она со мной сделала! Когда она была больна, я примирился с ней. Когда умерла, я как баба кислая ревел у неё на груди. А вышло вон что: она притворялась, обманывала меня. О деньгах и об её переписке я узнал уже после её похорон. Подумай, что только вышло. Что же я могу сделать, чтобы отомстить ей? Что? Чем я могу опьянить мою возмущённую душу? На ком я могу сорвать мою злобу?.. Только бы кровью её я мог утолить жажду моего возмущения! Но теперь уже поздно об этом думать. Черви съели её проклятое, греховное тело. В нём нет крови... Нет крови, которую я хотел бы высосать до капли. Пойми же мой ужас»...

Мне страшно перечитывать это письмо. Силюсь забыть его содержание, хочу уничтожить его и не могу. Оно мне кажется написанным кровью моего отца, и, если я его уничтожу, я превращу в пламень и дым кровь моего отца. Я не могу решиться на такое отцеубийство. Сожгу я письмо, написанное кровью моего отца, и кровь его возопиет ко мне. И снова отец проснётся из своего вечного сна, придёт на землю и сно-

ва будет жаждать крови матери. Зачем поднимать из могилы эту страшную загробную вражду... Упокой, Господи, их души, если ты есть, мой Бог, моё утешение...

И вот представляется мне, что отец мой жил только для того, чтобы оставить мне это страшное письмо. Но стоило ли жить для этого, если это страшное письмо бесполезно и мне?

А отца моего родила его мать, моя бабушка, а у бабушки был отец купец Дулин. Ужели и они все жили... и предки купца Дулина жили только для того, чтобы мне, последнему из двух родов, осталось даже и мне-то ненужное письмо моего отца?.. Какая во всём этом комедия жизни, пошлая комедия!..

Строился на человеческих или на каких-то там костях дом-особняк купца Дулина и строился для того, чтобы какой-то отец написал какому-то сыну ненужное письмо...

Пусть даже та нелепая легенда о том, что будто дом моего прадеда построен на костях человеческих – вздорная легенда невежественной черни... Но спрошу я: «Какой смысл был убивать тех волов, коров, лошадей, собак, кошек, на костях которых построен дом? Для чего лилась кровь невинных животных?» И я понимаю теперь рассуждения нашего старого конюха Евдокима. Он понимал, что крови много полито в землю, на которой стоит и до сих пор наш бывший дом. Он чувствовал эту кровь и так сентиментально говорил о той твёрдой травке, что росла из крови. Он чувствовал

кровь и болел за то живое, что было принесено в жертву... Кому?.. Для чего?..

Не всё ли равно, кому, для чего?.. Всё равно не ответишь на эти вопросы, а, стало быть, о чём же и рассуждать?..

Мне важно только моё самосознание, а я твёрдо верю, что люди нелепо живут, если строят свою жизнь на костях других, как мой прадед построил свой дом на костях... Пусть неизвестно, на чьих костях построен этот дом, важно, что он взгромождён на чьих-то костях. Чья-то кровь пролилась прежде, чем воздвигнуть дом.

И делалось всё это только для того, чтобы от двух родов – дворянского и купеческого – остался никуда не годный писец городской управы, служащий за тридцать пять рублей в месяц уже тридцать лет.

А умру я, и ничего от двух родов не останется. Прекратится, исчезнет с земли кровь двух родов. Останется от меня, мёртвого, гнилой труп, а потом черви в могиле объедят меня, съедят всё, что есть во мне мягкого и съедобного, и останутся только одни кости. Конечно, никто на моих костях не построит дом, потому что они останутся в земле на глубине трёх аршинов. Разве потом только, через десятки веков, когда люди сожрут и этот трёхаршинный слой земли, и истлевший гроб мой обнаружится, может быть, тогда люди будущего и на моих костях будут строить какой-нибудь железный или алюминиевый дом... Может быть, это и случится, и тогда я могу предсказать, что великий закон человеческой

несправедливости вечен, и нет сил изменить его или подчинить гуманному закону, ради которого люди теперь жертвуют своей жизнью.

Но скажу я: если бесполезно строить дома на костях, то не менее бесполезно отдавать себя работе ради какого-то гуманитарного закона, который также никогда не будет превратившимся в жизнь.

Будь что будет... О себе я скажу, что со спокойной совестью получу чистую отставку из своей городской управы и спокойно уйду в богадельню имени моего прадеда.

Родился я в доме, построенном на костях.

Ухожу я в дом заживо истлевающих людей...

Вот вам и вся комедия жизни!..

Ха-ха-ха!.. Над собой и над вами смеюсь я!..